

НИКОЛАЙ ГЕЙНЦЕ

ГЕРОЙ КОНЦА
ВЕКА

Отставной корнет Николай Савин

Николай Гейнце
Герой конца века

«Public Domain»

1896

Гейнце Н. Э.

Герой конца века / Н. Э. Гейнце — «Public Domain»,
1896 — (Отставной корнет Николай Савин)

«Февраль 1876 года стоял холодный и снежный, два весьма редкие качества петербургских зим. На площади Большого театра вытянулся целый ряд собственных экипажей и длинная лента извозчиков. Кучера и возницы топтались около карет и саней, хлопали рукавицами и перекидывались между собою замечаниями об адской погоде. Дул действительно резкий ветер, шел косой снег, залеплявший глаза и как бы острыми иголками коловший лицо...»

© Гейнце Н. Э., 1896

© Public Domain, 1896

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	9
III	13
IV	16
V	19
VI	22
VII	26
VIII	30
IX	33
X	36
XI	40
XII	44
XIII	48
XIV	52
XV	56
XVI	60
XVII	64
XVIII	68
XIX	72
XX	76
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Николай Гейнце

Герой конца века

Часть первая

В царстве женщин

I

В Большом театре

Февраль 1876 года стоял холодный и снежный, два весьма редкие качества петербургских зим.

На площади Большого театра вытянулся целый ряд собственных экипажей и длинная лента извозчиков. Кучера и возницы топтались около карет и саней, хлопали рукавицами и перекидывались между собою замечаниями об адской погоде.

Дул действительно резкий ветер, шел косой снег, залеплявший глаза и как бы острыми иголками коловший лицо.

Было около девяти часов вечера.

Насколько мрачно, уныло и холодно было на Театральной площади, тускло освещенной газовыми фонарями, стекла которых были запушены густым инеем, настолько светло и тепло было в зрительной зале Большого театра, переполненной публикой.

Чудной гирляндой цветных туалетов развешивались ложи бенуара, бельэтажа и даже 1-го яруса, туалетов, обладательницы которых, в большинстве, как картины искусных художников, были достойны роскошных рамок. Переливы драгоценных камней всех цветов радуги украшали белоснежные шеи, розовые ушки и затянутые в изящные перчатки грациозные ручки.

Тут был и петербургский «свет» и «полусвет», последний старавшийся затмить первый искусственным сиянием – сиянием драгоценностей и вполне этого достигавший.

Скромные «светские розы», нежные цветы с тонким ароматом чистоты и невинности, робко жались в сторонке перед пышными «камелиями», получавшими свой одуряющий аромат от современного парижского алхимика Герлена, нашедшего средство возвращать молодость и красоту и путем этого средства делать себе золото.

Такую параллель можно было провести, впрочем, лишь между несколькими великосветскими девушками, сидевшими в ложах бенуара и бельэтажа с почтенными старушками, мамами и тетюшками, седые букли которых придавали этим ложам особый строгий стиль.

Остальные же светские дамы и даже девушки, как юные, так и перешедшие далеко тот возраст, который называется «балзаковским», являлись не параллелями дам полусвета, а скорее – слабыми их пародиями. Это были цветки, менее выхоленные, выросшие на менее благородной почве, это были бледные копии тех же камелий, писанные кистью доморощенного дюжинного живописца. Верхние театральные сферы, вплоть до «райки», также пестрели яркими женскими платьями и темными фигурами мужчин во всевозможных костюмах, от модного до длиннополого сюртука и даже до суконной поддевки и крашеного нагольного тулупа.

Партер представлял своего рода торжественную картину, особенно первые ряды кресел, в которых, как известно, сосредоточен фокус балета, тогда как в опере этот фокус звука, а не зрения, находится в дальних рядах.

Оканчивался первый акт балета «Трильби».

Публика для внимательного наблюдателя разделялась на две категории: одна пришла вынести из театра купленное ею эстетическое наслаждение, и по напряженному вниманию, отражавшемуся в ее глазах, устремленных на сцену, видно было, что она возвращала уплаченные ею в кассе трудовые деньги, другая категория приехала в театр, отдавая долг светским обязанностям, себя показать и людей посмотреть; для них театр – место сборища, то же, что бал, гулянье и даже церковная служба – они везде являются в полном сборе, чтобы скучать, лицезревая друг друга.

Таков обыкновенно у нас контингент театральной толпы. Конечно, среди нее найдется несколько десятков людей, для которых театр не «дорогое удовольствие», не «место выставки себя и нарядов», а нечто, составляющее неотъемлемую часть их жизни, духовной или физической – первые завсегдатаи драмы и оперы, вторые – балета.

Наблюдательный глаз всегда различит группу этих завсегдатаев театра, занимающих первые ряды. Они держат себя с непринужденностью «своих», они все знакомы друг с другом, один бог – бог хореографии, которому они служат, равняет возрасты и положения.

Их «общее дело» видно по взглядам и улыбкам, которыми они перекидываются друг с другом, в их поклонах, пожатиях рук, словом, во всех мелочах их жизненных отношений.

Появление между ними новичка тотчас бросается в глаза.

Он не сразу осваивается в этой среде и его выдает излишняя развязность, желание порисоваться, несдержанная восторженность взглядов и манер.

Таким «новичком» в описываемом нами спектакле был молодой гвардейский офицер, Петр Карлович Гофтреппе, блондин с небольшими усиками на круглом лице, которые он усиленно тербил левой рукой, а правой то и дело поднося к глазам огромный бинокль, целую систему астрономических труб, годных скорее для наблюдений небесных светил, нежели звездочек парусинного неба.

Его серые, бесцветные глаза во время отдыха, который он давал им от наблюдений, живо выражали лихорадочное нетерпение, которое, впрочем, конечно, в меньшей, сдержанной форме, читалось в глазах и других балетоманов.

Они, однако, не вооружась биноклями с ленивою скукою посматривали на сцену, где грациозными пестрыми гирляндами свивался и развивался кордебалет, где мелькали десятки тех ножек, от которых кружатся мужские головы, где сгибались и разгибались торсы, созданные для объятий и вызывающие желания – эти наркотические, если можно так выразиться, моменты балета, не производили на пресыщенных балетоманов впечатления.

Среди них, видимо, царила атмосфера ожидания.

Они ожидали последнего акта балета, когда должна будет появиться недавно объявившееся чудо красоты и грации – характерная танцовщица Маргарита Гранпа.

С год как выпущенная из театральной школы, эта еще совсем юная жрица Терпсихоры сразу оставила за своим флангом подруг по балету, среди которых в то время, кстати сказать, насчитывалось много красавиц, воздушных, грациозных, пластичных.

Все эти звезды померкли перед восшедшим светилом – Маргаритой Гранпа.

Избрав своею специальностью характерные танцы, она с первых шагов на сценических подмостках не знала, да и до сих пор, сказать вскользь, не знает соперниц.

Для нее почти в каждом балете вставлялись номера, и эти-то номера и были «гвоздями» балета.

В последнем акте балета «Трильби» она танцевала с Кшесинским «цыганский танец».

Его-то и ожидали балетоманы.

Кончалось, как говорили, первое действие, когда в партере появился высокий, статный, красивый мужчина, на вид не более двадцати пяти лет. Изящная сюртучная пара, видимо сшитая лучшим портным, красиво облегла атлетически сложенную фигуру, по походке и по манере держать себя указывавшую на военную выправку.

Достигнув первых рядов кресел, он начал раскланиваться направо и налево.

По выражению лица завсегдатаев балетных спектаклей не трудно было угадать, что он «свой», ему добродушно кивали головой, а выражение удивления вместе с удовольствием встречи говорили, что он появился в театре неожиданно, что он был в отсутствии, ибо так не встречают тех, с кем виделись на прошлом спектакле.

– Здравствуй, Савин!

– Какими судьбами, Николай Герасимович!

– Bonsoir, Savin! (Добрый вечер, Савин!)

– Ты ли это?

– Откуда, брат!

Такие возгласы слышались вполголоса со всех сторон вместе с протянутыми для рукопожатия руками.

С одним только из балетоманов вошедший обменялся церемонным поклоном – это с Гофтреппе, причем, хотя и на одно мгновение, но добродушная улыбка исчезла с лица прибывшего, когда его взгляд встретился со взглядом молодого офицера, отразившим все его внутреннее самодовольное торжество.

Лицо вошедшего вдруг исказилось от какой-то внутренней боли, и он на одно мгновение, повторяем, беспомощно оглянулся вокруг, как бы ища защиты.

Деланно усмехнувшись своей собственной слабости, он прошел в первый ряд и опустился на крайнее от прохода кресло.

Отставной корнет Николай Герасимович Савин, действительно, после довольно продолжительной отлучки появился в Петербурге и в первый раз присутствовал на балетном спектакле сезона 1876 года.

По выражению лица, с которым он доглядел первый акт и смотрел следующие, видно было, что и он, как и другие балетоманы, приехал для последнего действия – для характерного танца Маргариты Гранпа.

Волнение сильного нетерпения, проглядывавшего в каждой черте его мужественного лица, в нервном покручивании выхоленных усов, невольно выделяло его среди ожидавших появления очаровательной цыганки и красноречиво говорило то, что в этой цыганке для него дорога не только танцовщица, но и женщина.

Несколько раз во время действий и антрактов взгляды Савина и Гофтреппе встречались. Лицо последнего по-прежнему не покидала улыбка торжества, видимо, раздражительно действовавшая на состояние духа первого.

К происходившей между молодыми людьми мимодраме не относились безучастно и остальные балетоманы – что было видно по тревожным взглядам, бросаемым ими по временам то на того, то на другого.

Казалось, их интересовал исход этого представления гораздо более, нежели того, которое шло на сцене. Наконец окончился последний антракт, и занавес взвился.

Выход Гранпа и Кшесинского был в половине акта, но эта половина тянулась для балетоманов вообще, а для Савина, в частности, томительно долго.

Наконец из-за правой кулисы выскользнула давно ожидаемая пара. Оглушительный гром аплодисментов приветствовал ее появление.

Сигнал подавался из первого ряда партера и с быстротою электрического тока передавался всему театру, достигая своего апогея в театральных верхах.

На секунду наступала тишина, театр замирал – артисты уже готовились сделать первые па, как снова еще сильнее рукоплескания и восторженные крики огласили зрительный зал.

Артисты стояли рука в руку и с почтительной грацией кланялись приветствовавшей их толпе.

Наконец аплодисменты стали постепенно смолкать, то тут, то там слышались местные взрывы, и перед воцарившейся тишиной раздались единичные рукоплескания.

Оркестр грянул.

Цыганский танец начался.

II У театрального подъезда

Несмотря на то, что в описываемые годы петербургский балет, как мы уже имели случай заметить ранее, имел в своих рядах много талантливых танцовщиц, блиставших молодостью, грацией и красотой – с год как выпущенная из театральной школы Маргарита Гранпа сумела в это короткое время не только отвоевать себе в нем выдающееся место, но стать положительной любимицей публики.

Суд балетоманов признал в ней все достоинства танцовщицы и женщины.

Последней, впрочем, *in spe*, то есть в будущем, так как пока еще она была тем благоухающим распускающимся цветком, который обещает при своем полном расцвете образовать вокруг себя одуряющую атмосферу аромата и сочетанием нежных красок ласкать взоры людей, одним словом, стать изящнейшим цветком мироздания – женщиной.

И она более чем оправдала эти надежды.

Высокая, стройная блондинка, с тем редким цветом волос, который почему-то называется пепельным, но которому, собственно, нет названия по неуловимости его переливов, с мягкими, нежными чертами лица, которые не могут назваться правильными лишь потому, что к ним не применимо понятие о линиях с точки зрения человеческого искусства.

Есть красота, так сказать, отвлеченная, создаваемая гением художника, воспроизводящего на полотне свою фантазию, свой идеал, соответствующий его настроению – такова красота рафаэлевой мадонны – возвышенная, неземная, говорящая более о небе, нежели о земле.

Есть создание гениев-художников, изображающих красоту в сочетании тонких линий – образец такой красоты мы видим в статуях богини Венеры.

Есть в художественных произведениях изображение красоты, более близкой к земным типам – это красота миловидного личика, чистого создания, еще не знающего жизни, но стремящегося к ее познанию – таковы головки Греза.

Природа – этот величайший и гениальнейший из художников – дарит изредка мир такими воплощениями красоты, в которых перечисленные нами образцы находятся в какой-то наисовершенной гармонии.

Тонкость линий как бы ступенькается общим неземным, полувоздушным обликом, кажущимся таким далеким от жизни, а между тем полным ею.

Спокойствие и буря, чистота и страсть, святость и грех – все это, кажущееся несовместимым, соединяется в вдохновенном образе идеальной красавицы.

Такой красавицей была Маргарита Гранпа.

Эта печать неземной, а между тем так много говорящей земному чувству красоты лежала не только на всей ее фигуре, но и на всех ее движениях – пластичных, грациозных, естественных и непринужденных.

Она, казалось, не была, как другие, выучена для балета, она была рождена для него.

В ней был не талант, а гений танцовщицы.

Потому-то театр во время исполнения ею номеров затаивал дыхание – публика видела исполнение танца, говорящего не только зрению, но и уму.

Она видела не только одну физическую работу танцовщицы, но и работу ее мысли.

Восемнадцатилетняя девушка, хотя уже с великолепно, но, видимо, еще полуразвившимся торсом, инстинктивно влагающая в танец еще неведомую ей страсть, несвойственную ей самой по себе дикость, цыганскую удаль и размах, должна была создать этот образ изображаемой ею цыганки и выполнить его на сцене.

Это, повторяем, задача не танцовщицы, а артистки.

И в описываемый нами спектакль, после улегшейся бури аплодисментов, театр затих и замер.

Все взоры устремились на талантливую молодую танцовщицу, и каждое движение ее не только ловили, к нему, казалось, прислушивались.

Рассеянные до этого момента балетоманы сосредоточились.

Оставив свои наблюдения над мимодрамой, происходившей между неожиданно появившимся в театре Савиным и юным Гофтреппе, они всецело предались созерцанию танцовщицы Гранпа.

По выражению их лиц не трудно было заметить, что все они, от старого до малого, готовы сейчас же пасть к грациозным ножкам молоденькой танцовщицы.

Но и среди этого обожания, разлитого на лицах балетоманов, выражения лиц Савина и Гофтреппе выделялись своим красноречием.

На красивом лице Николая Герасимовича, с великолепными светло-каштановыми усами, появилось выражение какого-то сладостного блаженства, на красивом, точно выточенном, высоком лбу выступили от волнения капли пота.

Вся его фигура, как бы выдававшаяся вперед, точно говорила: «Я приехал, я здесь, я у ног твоих».

Юный Гофтреппе выглядел несколько спокойнее, в его глазах по очереди то мелькали страстные огоньки, то сменялись они какой-то назойливой беспокойной думой, причем он как-то инстинктивно поворачивался в сторону сидевшего недалеко от него Савина.

Но вот обоими исполнителями сделано последнее па.

Танец был окончен.

Гром аплодисментов и крики «браво», «бис» огласили театр.

Из оркестра начались подношения, всегда сопровождавшие выход Маргариты Гранпа.

Букеты, венки и корзины с цветами, футляры и ящики одни за другими показывались из оркестра, как из волшебного ларца чародея.

Гранпа принимала их, хотя и с очаровательной улыбкой, но с достоинством уже избалованной публикой любимицы.

Ее большие голубые, искрящиеся глаза смеялись вместе с розовыми губками, и за некоторые подношения она, видимо, благодарила ими по точному адресу.

Крики и рукоплескания не умолкали до тех пор, пока несколько конечных па не были повторены.

Потянулась, после умолкнувших аплодисментов, последняя часть акта.

Несколько человек из балетоманов, в числе которых был и Гофтреппе, проскользнули в боковую дверь, ведущую ко входу на сцену.

Остальные остались на местах, с тревогой поглядывая на ту же дверь.

Вышедшие вернулись еще до конца акта.

– Согласилась, согласилась... – подобно электрическому току пронеслось по первым рядам.

К Савину наклонился сидевший сзади него молодой человек, особенно радостно приветствовавший его появление в зрительном зале.

– Савин, ты с нами, ужинать...

– Куда?

– К Дюссо, конечно, все по-прежнему... Слышишь, будет и Гранпа.

– Маргарита?.. – с какой-то спазмой в горле сказал Николай Герасимович.

– Ну, да, она согласилась... Ей послали записку, и теперь ходили за ответом...

– Одна?..

– Одна... Аргус болен... там будут и другие...

Лицо Савина засияло радостью.

- С удовольствием, с удовольствием... – пожал он крепко руку своему собеседнику.
- И Савин с нами... И Савин в доле... – пронеслось в креслах.
- И Савин... – протянул громче всех Гофтреппе каким-то странным, загадочным тоном. Николай Герасимович невольно повернулся в его сторону.
- В глазах молодого офицера он прочел такое злобное торжество, что невольно вздрогнул.
- «Что это значит? – мелькнуло в его уме. – Он становится дерзок... Его надо проучить...

Я это сделаю сегодня же...»

Мысли его, однако, тотчас же приняли другое направление.

«Я увижу ее... я буду говорить с ней...» – замечтал он.

Сердце его усиленно билось. Занавес в это время тихо опускался.

Начался разъезд, с его обычной сутолокой в коридорах и вестибюле театра и выкрикиванием кучеров у подъездов.

Николай Герасимович Савин, одетый в военную николаевскую шинель и бобровую шапку, вышел из театра в группе балетоманов и двинулся вместе с ними к «театральному подъезду», как технически называется подъезд, откуда выходят артисты и артистки театра.

Гофтреппе шел сзади всех и при выходе из театра перекинулся шепотом несколькими словами со стоявшим в подъезде дежурным участковым приставом, видным мужчиной, служащим до сих пор в петербургской полиции и носящим историческую фамилию.

Пристав кивнул головой и не спеша отправился за группой балетоманов.

Последние уже были у театрального подъезда, когда пристав, ускорив шаги, подошел к Савину и тихо дотронулся до его плеча.

– Николай Герасимович, на два слова... – тихо сказал он.

– Вы меня?.. – остановился тот, удивленно смерив глазами полицейского офицера.

– Да, вас, именно вас... на два слова...

– Хорошо, но только поскорей... Что вам нужно? – торопил Савин, с тревогой видя, что из подъезда уже показываются закутанные женские фигуры.

«Это она... наверное она!» – мелькнуло в его уме.

– Я, Николай Герасимович, как мне это не неприятно, должен вас арестовать... – бесстрастно прошептал пристав.

Удар грома, наверное, не поразил бы так Савина, как эти тихие слова полицейского офицера.

Савин бросил растерянный взгляд на театральный подъезд.

«Это она! Это она!» – в последний раз мелькнуло в его уме.

Это было на одно мгновение. Он вспомнил сказанные ему слова стоявшим около него полицейским приставом.

– Арестовать... меня... За что?.. Это ошибка... Почему сейчас?.. – растерянно заговорил он.

– Вы сосланы административным порядком в Пинегу!.. – тихо, серьезным тоном отвечал пристав.

– В Пинегу... Пинегу... Что такое Пинега?.. – бормотал Николай Герасимович. – Я не пойду...

Он двинулся было вперед, но пристав загородил ему дорогу.

– Я дам свисток... Лучше без скандала поедemте со мной в участок, – внушительным шепотом сказал полицейский офицер.

В это самое время от театрального подъезда откатило несколько троечных саней и промелькнуло мимо Николая Герасимовича и пристава.

В одних из саней, на которых упал свет фонаря, среди сидевших двух дам и двух кавалеров Савин узнал Гофтреппе и Маргариту Гранпа.

Злобная усмешка торжества змеилась, как и в театре, на губах молодого офицера. Теперь Николай Герасимович ее понял.

Судорожным движением запахнув шинель, он произнес сдавленным голосом, обратившись к приставу:

– Так в участок?..

– В участок... Очень жаль... Но что делать... долг службы прежде всего...

– Едемте... – прохрипел Савин.

– Пожалуйста... – указал полицейский офицер на уже подъехавшие ранее собственные сани.

Николай Герасимович твердой походкой пошел к саням и сел первый, пристав быстро примостился рядом и крикнул:

– Пошел, в участок!

Трудно описать весь ужас, охвативший молодого человека, которому внезапно-негаданно говорят, что он арестован и именно в тот момент, когда вся душа его, все его существо пылало одним желанием, одной мыслью о свидании с любимой женщиной.

Савин сидел, как окаменелый. В приказании пристава кучеру последний раз слух Николая Герасимовича резнуло слово «участок». Затем на него напал какой-то столбняк от промелькнувшей мысли, что он арестован, что его везут как арестованного в тот самый участок, к которому он по всему складу его жизни не мог не чувствовать отвращения, даже почти презрения.

Чтобы понять это, читателю необходимо поближе познакомиться с героем нашего повествования и со всем складом его жизни до описанного нами его неожиданного и непредвиденного им ареста. Это мы и сделаем в следующей главе.

III

Детские годы

Отец нашего героя – Герасим Сергеевич Савин в молодости был лихой кавалерист, в том, почти ныне позабытом, лучшем значении этого понятия.

Беззаветно храбрый, чуткий до щепетильности в вопросах чести и долга, с широкой русской душой и не менее широкой русской удалей, Герасим Сергеевич, однако, рано вышел в отставку, питая с молодости страсть к сельскому хозяйству, а свою храбрость и удай всецело вложил в охоту, которой посвящал все свободное от хозяйственных занятий время.

Собственник нескольких громадных имений в разных губерниях, он переезжал из одного своего поместья в другое, везде оглядывая все зорким хозяйственным взглядом и всюду являясь грозой не только для своих старост, но и для волков, лисиц и зайцев, во множестве населявших его собственные леса.

Несмотря на то, что, находясь в положении жениха, он представлял «лакомый кусок» для губернских маменек и доченок и эти последние делали на него облавы не хуже и не искуснее тех, которые он делал на «лесного зверя», Герасим Сергеевич был счастливее последнего и долгое время благополучно ускользал от цепей Гименея.

Его ближайшие родственники, иные с грустью, другие с радостью, и все в общем с тревогой уже думали, что он останется вечным холостяком, как вдруг на сороковом году Герасим Сергеевич влюбился в свою дальнюю кузину, семнадцатилетнюю девушку и, со свойственной ему стремительностью, сделал предложение и женился.

Кочевая по разным имениям жизнь, проводимая им до свадьбы, прекратилась, и молодые поселились в родовом гнезде фамилии Савиных, в селе Серединском Боровского уезда Калужской губернии, проводя, впрочем, несколько зимних месяцев в Москве, где у Герасима Сергеевича был дом у Никитских ворот.

Фанни Михайловна Савина, славившаяся в половине и конце сороковых годов в Москве своею выдающеюся красотой, была женщиною развитою и умною, очень набожной и так же, как и ее муж, чрезвычайно доброй.

Избалованная светскими удовольствиями и выдающейся ролью, играемой ею в обществе, окруженная толпой раболепных поклонников и немых обожателей, она в чад великосветских успехов осталась верна своему долгу не только жены, но и матери, и когда сыновья ее: Сергей, герой наш – Николай и Михаил стали подрастать, почти отказалась от света и всецело отдалась воспитанию детей, несмотря на то, что была в это время в полном расцвете женской красоты.

Таковы в сущности должны быть женщины-матери, но, видно, понятие о них в наше время позабыто даже более, нежели понятие о лихих кавалеристах.

Особенно много беспокойства доставлял ей любимец ее отца – Коля, шалости которого были подчас до того буйны и неукротимы, что окончательно ставили в тупик добрую и кроткую женщину.

Потеряв нескольких детей, Фанни Михайловна положительно дрожала за здоровье и жизнь оставшихся в живых сыновей. Между старшим и вторым было девять лет разницы, и в этот-то период она потеряла пятерых детей, умерших вскоре после их рождения.

Понятно, что сын Николай, за которого боялись, что он также не выживет, как его братья и сестры, сделался кумиром своих родителей и мать берегла его, как зеницу ока. Родившийся через два года сын Михаил уже казался родителям не столь верно обреченным на раннюю смерть.

Идол отца и матери, баловень всех домашних, маленький Коля, конечно, пользовался исключительностью своего положения с чисто детским неразумием. Живой характер от природы обратился сначала в шаловливый, а затем прямо в необузданный и неукротимый.

Для любящих родителей это прогрессирование дурных наклонностей сына произошло, по обыкновению, незаметно. Они оба опомнились только тогда, когда исправление было затруднительно или даже почти невозможно, особенно при домашнем режиме, где ребенок уже привык к своеволию, не ставя ни в грош ни отца, ни мать, ни многочисленных учителей и гувернеров, приглашенных для его образования.

Мальчику уже шел двенадцатый год, когда, наконец, и Фанни Михайловна согласилась с мужем, что ее любимец окончательно отбился от рук и его надо воспитывать вне дома.

Возник вопрос о том учебном заведении, которому выпало бы на долю исправить неисправимого шалуна. Как отставной военный, Герасим Сергеевич стоял за корпусное воспитание.

– Там, матушка, его быстро сократят, дисциплина – великое дело, только военная выправка и может сделать из него человека и достойного дворянина, – говорил Савин-отец. – Там, наконец, развито товарищество, которое тоже пригодится ему в жизни... – добавлял он.

– Нет, уж как хочешь, Герасим Сергеевич, – Фанни Михайловна звала всегда своего мужа по имени и отчеству, – а не отдам я Колю в твои казармы, выйдет он оттуда неотесанным чурбаном с прескверными манерами, да к тому же и неучем...

– Фанни... Фанни... Как неучем? – возразил Герасим Сергеевич. – Разве я уже такой неуч и неотесанный чурбан? – с улыбкой посмотрел он на жену.

– Ты, ты другое дело, – нежно трепала его Фанни Михайловна по щеке. – Ты моя прелесть и исключение, а все же я сперва, когда ты был моим женихом, тебя боялась...

– Меня... Боялась... Отчего же?

– Вид у тебя был такой отчаянный... Впрочем, я, кажется, за это тебя и полюбила...

Герасим Сергеевич удивленно разводил руками.

– Вот и пойми женщин! – патетически восклицал он.

– Нет, Герасим Сергеевич, ты там какие мины ни строй, а в корпус я Колю не отдам. Кадет... фи... Я не хочу, чтобы он был кадетом...

– Куда же, матушка, мы его денем?

– В императорский лицей... в Петербург.

– Почему это ты выбрала именно лицей? – недоумевал Савин-отец.

Фанни Михайловна вспыхнула.

– Еще девочкой я любила танцевать с лицеистами, приезжавшими в отпуск на праздники, они все были такие чистенькие, благовоспитанные, франтоватые, – отвечала она.

– Вот оно что!.. – улыбнулся Герасим Сергеевич.

Разговоры, подобные приведенному, возобновлялись не раз. Если женщина захочет, то поставит на своем – эта поговорка оправдалась, и Фанни Михайловна победоносно отбила у мужа право распорядиться судьбой своего Коли по своему усмотрению и отдать его в лицей.

Судьба нашего героя таким образом попала в зависимость от женщины. Но этого мало, другая женщина изменила это решение, что еще более отразилось на его судьбе.

Этой другой женщиной была его бабушка – Татьяна Александровна Савина, московская аристократка, статс-дама и представительница разных московских благотворительных учреждений.

Как истая москвичка, она была усердная читательница «Московских ведомостей» и рьяная почитательница стоявших во главе этого университетского издания М. П. Каткова и П. М. Леонтьева.

За год перед окончательным разрешением вопроса о поступлении Николая Савина в Императорский лицей, в Москве Катковым и Леонтьевым был учрежден лицей, называвшийся в первое время своего существования «Катковским».

Москва до небес восхваляла порядки и метод обучения этого юного детища московских отцов классицизма, и Татьяна Александровна Савина была, конечно, сторонницей этого учебного заведения.

На сына своего Герасима Сергеевича и его жену знатная и богатая старуха, уважаемая всей родовитой и чиновной Москвой, имела большое влияние, и так как к тому же она очень любила своего внука Колю, то решение его судьбы по приезду в Москву семейства Савиных было предоставлено на ее одобрение.

Старушка не одобрила.

– В Петербург да в Петербург, дался вам этот Петербург, вольнодумец-город, выскочка-город... – начала она обычную в устах москвичей филиппику против приневской столицы.

Неизменно носимый ею черный чепец с желтыми лентами, прикрывавший седые букли, сильно закачался, что служило признаком необычайного волнения.

– От добра добра не ищут... У нас в Москве теперь свой лицей – не чета петербургскому, сам Михаил Никифорович наблюдает за воспитанием детей, а у него глазок-смотрок на отличку...

Разговор происходил в гостиной в обширном доме Татьяны Александровны на Тверском бульваре.

Герасим Сергеевич, отказавшись от мысли отдать сына в военное учебное заведение и предоставив право выбора воспитательного для него учреждения Фанни Михайловне, отнесся безучастно к новому проекту своей матери относительно поступления его в Катковский лицей.

Фанни Михайловна, вполне надеявшаяся, что ее выбор учебного заведения для Коли заслужит одобрение бабушки, так как последняя не раз сама высказывалась против военных учебных заведений, не ожидала возражений и, что называется, опешила.

– И что за радость, отправлять ребенка в это болото, испарения которого губительно действуют на его молодой организм... Болото ваш Петербург, настоящее болото, не говоря уже о том, что там и взрослые задыхаются в тине бюрократизма... – продолжала между тем волноваться старушка. – То ли дело здесь, в Москве, и я здесь, и вы зимой наезжаете, по праздникам ко мне и к вам в отпуск приходить будет, связи с семьей не будут разрушены, а из Петербурга-то в год раз или два удастся его сюда на несколько деньков залучить... Отца и мать, и меня старуху позабудет, а мне недолго осталось ждать и им любоваться, ох, недолго.

– Что вы, матушка... – вставил Герасим Сергеевич.

– Что я, стара, сынок, а два века не живу... – слезливо заморгала глазами Татьяна Александровна.

– А ведь, маман, пожалуй, права! – обратился к жене Герасим Сергеевич. – Я сам слышал много хорошего о здешнем лицее.

Перспектива не разлучаться с сыном на очень долгое время улыбалась и самой Фанни Михайловне, а название «лицей», тоже носимое вновь открытым московским учебным заведением, и похвалы его порядкам, которые она слышала от мужа и его матери, довершили остальное.

– Что же, я не прочь последовать совету маман и отдать Колю в Катковский лицей, – после минутного раздумья сказала она.

Глаза старушки Савиной прояснились – она вся засияла.

– Вот этого я тебе никогда не забуду, нынче не так-то скоро слушают старых людей! Ты у меня золото – умница.

Татьяна Александровна привлекла к себе Фанни Михайловну и несколько раз ее поцеловала. Таким образом, судьба маленького Коли была перерешена этими двумя женщинами, и через несколько дней он сделался воспитанником Катковского лицея.

IV В юнкера!

Катковский лицей в первые годы своего существования, то есть в конце шестидесятых годов, помещался в Москве, на Большой Дмитровке, в том самом доме, где ныне огромный электрический фонарь освещает по вечерам вход в один из разнузданных московских кафешантанов, известный под именем «Salon de Variete», или, попросту говоря языком московских «саврасов», «салошки».

Да не подумает дорогой читатель, что, сопоставляя чисто классическое учебное заведение со своего рода воспитательным для московских «матушкиных сынков» учреждением, мы имеем какую-нибудь заднюю мысль. Ничего кроме чисто топографического указания места, где помещалась первая школа, в стенах которой начал свою отдельную от родительского крова жизнь Николай Савин – не заключается в вышеприведенных строках.

Нельзя сказать, чтобы строго классический режим лицея благотворно повлиял на бурную натуру мальчика.

Способный и хорошо подготовленный, он учился с успехом, но еще большие успехи выказывал в изобретении и исполнении всевозможных шалостей, сошедших с отъявленными шалунами-товарищами и сделавших их коноводом.

Начальством принимались все меры строгости, но тщетно.

Одной из главных причин неукротимости нрава Коли было продолжающееся, или лучше сказать, еще увеличивавшееся баловство дома, то есть у бабушки, к которой молодой лицеист ходил в отпуск по праздникам.

Татьяна Александровна, после того как ее любимый внук сделался питомцем «рассадника государственных людей», как называли Катковский лицей в Москве, учрежденный двумя кумирами, положительно не чаяла души в Коле и не знала, чем одарить его и чем побаловать на праздник. Денег щедрая бабушка давала ему, что называется, вволю.

Прошло около двух лет.

Одновременно с классицизмом, как известно, на Руси народилась оперетка, с легкой руки тоже классической «Прекрасной Елены».

Юный лицеист Савин тратил деньги, даваемые ему его бабушкой, между прочим и на театр, к которому страшно пристрастился.

Каждый праздник он был то в одном, то в другом московском театре.

«Прекрасная Елена» произвела на него неотразимое впечатление, и мальчик, перевидев ее много раз, знал наизусть мотивы этой бесспорно прелестной оперетки.

В лицее в это время, для вящего упражнения учеников в познаниях по классическим языкам, затеялся домашний спектакль на латинском языке.

В костюмах древних римлян лицеисты должны были декламировать на специально построенной для этого сцене длиннейшие стихи.

Долбежка ролей мучила мальчиков, как всякое скучное зубрение, и была им очень не по нутру.

Молодой Савин недолюбливал, как и многие, классических языков и, получив от учителя громадную в несколько страниц роль на латинском языке, вдруг выкинул одну из своих школьных проделок, которая, впрочем, имела роковые для него последствия и была последнею в стенах лицея.

– А знаете, господин учитель, мне кажется, что можно бы и не учить эту роль?

– Почему? – возрился на него сквозь очки почтенный педагог.

– Да зачем мне учить ее, когда я и без этих длинных стихов знаю кое-что наверно лучшее, чем это, из классического репертуара, – отвечал Савин.

– Что вы можете продекламировать мне классического? – заинтересовался учитель. Недолго думая, четырнадцатилетний мальчик во весь голос и очень правильно запел:

Мы все невинны от рожденья,
И нашей, честью дорожим!
Но ведь бывают столкновенья,
Когда невольно согрешим!

– Что?! – при гомерическом хохоте всего класса, не хуже Савина знавшего «Прекрасную Елену», воскликнул учитель, быстро сошел с кафедры и вышел из класса.

Прибежал директор лицея Павел Михайлович Леонтьев и «любителя оперетки» посадили в карцер.

Но скандал этим не кончился.

Выходке мальчика придали значение чуть ли не преступления. По решению классических менторов, Николая Савина очень реально выпороли. Балованный, своенравный и в высшей степени самолюбивый мальчик, он был страшно потрясен таким уничижающим человеческое достоинство наказанием и, недолго думая, бежал к бабушке.

Татьяна Александровна, оповещенная уже дирекцией лицея о поступке ее внука и той каре, которой он подвергся, встретила его сначала со всею возможною для доброй старушки строгостью – черный чепец с желтыми лентами усиленно около четверти часа качался из стороны в сторону – и заявила, что сейчас же отправит его обратно в лицей.

Слезы и рыдания огласили спальню бабушки – Савин успел вырваться из лицея на другой день после экзекуции рано утром и застал старушку еще в постели – и произвели свое впечатление.

Татьяна Александровна сильно разохалась и разохалась, и уступила горячим протестам внука, заявившего ей категорически, что он снова убежит из лицея, но уже не к ней, а к отцу с матерью в Серединское.

Бабушка решила оставить его у себя, написала родителям, и кончилось тем, что с мальчиком поступили по первоначальному проекту Фанни Михайловны и несколько месяцев спустя, в декабре 1868 года, отвезли в Петербург, где он и поступил в императорский лицей.

Петербургский лицей, в смысле окончания в нем образования для Николая Савина не был удачнее московского, хотя в нем он пробыл несколько долее, а именно – три года.

Латинский язык, из-за которого он провалился при переходе из второго в третий класс, и страсть к оперетке и шансонетке и здесь были роковыми для него причинами.

В начале семидесятых годов в Петербурге был в большой моде театр «Буфф», в котором пели в то время производившие страшный фурор Жюдик и Жанн Гранье.

Начальство лицея, конечно, нашло неудобным для своих воспитанников посещение этого излюбленного всем петербургским светом театра, помещавшегося близ Александрийского, и строго запретило лицеистам быть в этом храме оперетки и шансонетки.

Но сладость запретного плода, прелести Жюдик и начинавшая бушевать молодая кровь – все влекло туда, и лицеисты, несмотря на запрещение, переодевались в штатское платье и были усердными поклонниками «несравненной», как называли тогда Жюдик.

Одним из самых заядлых завсегдатаев «Буффа» был Савин.

В один из далеко не прекрасных для последнего воскресных вечеров 1871 года он вместе со своим товарищем, Михаилом Масловым, сидел в первом ряду «Буффа», что было запрещено даже в других, не находившихся под начальственным запретом театрах, как вдруг, в антракте, подходит к молодым людям известный в то время блюститель порядка в Петербурге Гофтреппе, в сопровождении полицейского офицера.

– Ваши фамилии, господа?

Савин и его товарищ сказали.

– Запишите! – кивнул блюститель сопровождавшему его офицеру.

– А позвольте узнать вашу фамилию? – обратился к нему Савин.

– Как, разве вы меня не знаете? Я – Гофтреппе!

– Миша, запиши... – тоном блюстителя обратился Савин к Маслову.

Ближайшие свидетели этой сцены расхохотались.

Гофтреппе удалился весь красный.

Этот анекдотический эпизод с быстротою молнии облетел в этот вечер театр «Буфф», а на другой день весь Петербург, сделавшись злободневным анекдотом.

Петербург смеялся.

Лицейское начальство, впрочем, оказалось не из смешливых.

Савина посадили сперва в карцер, а по обсуждении вопроса об его переэкзаменовке по латинскому языку, признали в нем соединение лености с дурным поведением и предложили его родным взять его из лицея.

Так окончилось научное образование нашего героя – балованного сынка богатых и родовитых родителей.

Традиционного участием того времени для русского юноши, неудачника в школе, был юнкерский мундир, а следовательно, и дальнейшая карьера Савина определилась словами – «в юнкера»!

Два класса лицея давали ему права средних учебных заведений, и он мог поступить юнкером в гвардию.

Для самого Савина этим осуществлялась его заветная мечта. Он горел желанием поступить в военную службу и, быть может, не вмешайся в его судьбу две дамские прихоти, сперва его бабушки, поклонницы «Московских ведомостей», а затем его матери, хранившей в своем сердце воспоминание о танцах с миловидными и чистенькими лицеистами, по той дороге, которую определил ему отец, при корпусном воспитании, его жизнь сложилась бы иначе и несомненные способности и духовные силы, таившиеся в этом пылком юноше, получили бы другое направление.

Но, видно, в книге судеб было написано, что женщины, от колыбели до могилы, должны играть в его жизни роковую роль.

Они и сыграли ее.

Вопрос об избрании рода оружия не мог иметь места. Все Савины искони веков были кавалеристами.

Таким образом, 12 марта 1872 года недавний Коля, теперь уже Николай Герасимович Савин, облекся в мундир и доспехи одного из блестящих гвардейских полков.

V

Прежде и теперь

Не прошло и четверти века с того времени, к которому относится наш правдивый рассказ, а между тем жизнь Петербурга начала семидесятых годов сравнительно с настоящей представляется почти фантастической.

Метаморфоза эта произошла на наших глазах и до того исподволь, что только сравнивая последние годы, мы ясно видим, какая глубокая пропасть легла между тогдашним и нынешним Петербургом за эти какие-нибудь двадцать лет с небольшим.

Да и с одним ли Петербургом случилась за это короткое время в России такая редкая перемена?

К худу это или к добру – решать этот вопрос здесь не место и не время, скажем лишь, что в то близкое, но кажущееся таким далеким от нас время жить было легче и веселее, хотя нельзя отрицать, что жизнь эта не могла назваться серьезной, а тем более полезной.

Существует мнение, что перемена эта произошла постепенно, вследствие объединения общества, вследствие исчезновения свободных капиталов.

Не то было, повторяем, каких-нибудь двадцать, двадцать пять лет тому назад, – жизнь кипела ключом, била через край и разливалась широкой волной по всему Петербургу, юноши, со школьной скамьи уже так или иначе хлебнувшие этой одуряющей влаги, бросались сломя голову в жизненный водоворот.

Особенно шумно и весело текла жизнь расположенных в столице гвардейских полков. Представители их вместе со штатскою «золотою молодежью» составляли контингент так называемого «веселящегося Петербурга».

Молодой Савин, попав в эту среду, очутился в той сфере, к которой он был приготовлен домашним баловством, выбором школьных товарищей и развитыми слишком преждевременно жизненными вкусами.

В то время юнкера служили на старых правах, были приняты в обществе офицеров и жили с ними на товарищеской ноге.

Поэтому Николай Герасимович, представившись начальству в первый день своего зачисления в полк, на другой же – отправился с визитами к офицерам.

Большинство из них жило на частных квартирах, а потому Савину пришлось исколесить из конца в конец весь город.

Между прочим он заехал к своему товарищу по лицу, недавно выпущенному в корнеты того же полка, Михаилу Дмитриевичу Маслову, который повез его завтракать к Дюссо.

Ресторан Дюссо находился на Большой Морской и был сборным пунктом того полка, в который поступал Николай Герасимович.

После каждого учения здесь собирались все, от полковника до юнкера. Для офицеров сохранялось всегда несколько кабинетов, носивших название полка.

Вечером носили сюда полковой приказ для прочтения ужинающим офицерам; вообще, Дюссо был своего рода клуб, rendez-vous всего полка.

По приезде к Дюссо, они застали там большое общество молодых офицеров, которым Михаил Дмитриевич представил Савина.

Он был принят, и новые товарищи, поздравляя его с поступлением в полк, один за другим предлагали ему выпить брудершафт.

От брудершафта, вообще, не принято отказываться – отказываться же пить брудершафт со своими офицерами было уже совершенно немыслимо.

По числу находившихся за столом офицеров Николаю Герасимовичу пришлось выпить семнадцать бокалов шампанского и в результате очутиться дома, в комфортабельно и уютно

меблированной квартире на Караванной, в постели, на попечении лакея, от которого он только и мог узнать на другое утро, что его привезли домой господа офицеры.

Такому внутреннему омовению вином должен подвергаться, по полковому обычаю, каждый новичок.

Впоследствии ему самому не раз приходилось участвовать в таком же спаивании молодого корнета или юнкера, поступившего в полк, и отвозить его мертвым телом к нему на дом.

Подобному же обряду омовения шампанским подвергали с добавлениями и вариантами каждую новую шикарную кокотку, появлявшуюся в офицерском кружке.

Полковая жизнь того времени в гвардии не представляла вовсе собою военной жизни.

Хотя офицеры и сходились ежедневно в полку на ученье и в манеже, но зато остальное, свободное от занятий время отдавали вполне светской жизни и кутежам.

Товарищи по службе встречались чаще на балах, в театре, у Дюссо, чем в самом полку.

Основным местопребыванием офицеров полка, в который попал Савин, был, как мы уже говорили, ресторан Дюссо.

Он служил главным звеном соединения всех офицеров.

Здесь праздновали полковые и эскадронные праздники, тут чествовали счастливцев с повышением и наградами, устраивали проводы уезжающим по разным причинам и, наконец, просто кутили с французскими и другими кокотками.

Попав в этот водоворот светской и полусветской полковой жизни, молодой Савин окунулся в него буквально с головой.

Вскоре о подвигах его и его товарища юнкера Хватова, в полку было тогда всего два юнкера, стали ходить по Петербургу целые легенды, кстати сказать, почти не прикрашенные.

Яков Андреевич, так звали Хватова, был сын богатого откупщика, получивший от отца состояние в несколько миллионов, нажитых на поприще российского отравления сивухой.

Круглолицый, краснощекий и необыкновенно тучный для своих лет, он производил впечатление чистокровного пижона.

Еще до поступления в полк, он появился в среде кутящей петербургской молодежи и бросал огромные деньги на лошадей.

Поступив в полк, он дал великолепный обед товарищам, на который выписал цыган из Москвы, а после обеда сделал выводку своей действительно замечательной конюшни в зал, превращенный в манеж.

С этим-то Хватовым и подружился Савин.

Дни проходили за днями в беспрерывных попойках, кутежах, в ухаживании за актрисами и тому подобное.

Естественно, что познания в военном деле от этого не подвигались, и на экзамене в Николаевском кавалерийском училище Савин блестяще провалился.

Этот образ жизни требовал к тому же денег без меры.

Пятисот рублей в месяц, которые Николай Герасимович получал из дома с первых же дней поступления в полк, не хватало порой на один вечер.

Явилась «золотая нужда», а с нею долги, векселя, бланковые надписи за товарищей, и таким образом за полтора года службы Савин сделал долгов на полтораста тысяч.

Кредиторы стали напоминать о себе все чаще и чаще, что и заставило его после неудачного экзамена поехать к отцу в деревню и принести повинную.

Герасим Сергеевич, пожурив сына, заплатил его долги, но в Петербург назад не пустил, а заставил подать прошение о переводе в гродненские гусары как полк, где живут скромнее, да и расположенный не в Петербург, а в Варшаве.

Пока ходило по инстанциям прошение об этом переводе, Герасим Сергеевич с сыном поехал в Москву.

В белокаменной Николай Герасимович снова окунулся в веселую столичную жизнь.

Море шальных денег и в Москве било широкой волной.

Там кутило богатое молодое купечество, около которого группировались, со свойственной московскою неразборчивостью, и великосветские денди первопрестольной столицы.

Ареною таковых кутежей служил вновь открытый ресторан «Славянский Базар», отделанный с невиданной в Москве оригинальностью, с огромным бассейном, где плавали аршинные стерляди, а подчас и подгулявшие франты, и «Эрмитаж», славившийся своими обедами – это были убежища на день.

Ночью к услугам «веселящейся Москвы» широко распахивали свои двери загородные рестораны «Яр» и «Стрельня», последний со своим тогда знаменитым по всей России хором цыган под управлением Хлебникова.

Шампанское, хотя и не особенно высокой марки, – говорят, что для Москвы готовится особое за границей, – лилось рекой.

Наконец, перевод Николая Герасимовича в гусары состоялся.

С тяжелой головой от последнего прощального кутежа он выехал по московско-брестской железной дороге к месту нового своего служения.

Вещи и лошади сына были высланы ранее предусмотрительным Герасимом Сергеевичем.

VI В Варшаве

Варшава первой половины семидесятых годов, как и Петербург, представляется бывавшим в ней в то время совершенно иному, нежели нынешняя Варшава.

Польское противостояние всему русскому было в ней почти повсеместно, несмотря на суровый урок, незадолго перед тем данный польским «политическим фантазерам». Польский говор слышался повсюду, и к лицам, заговаривавшим в публичных местах, театрах, ресторанах, цукернях и огрудках (загородных садах) по-русски, относились если не совершенно враждебно, то крайне пренебрежительно, – над ними прямо глумились даже ресторанные гарсоны, очень хорошо понимавшие по-русски, что оказывалось тотчас же при получении хорошей платы «на чай», но притворявшиеся непонимающими и заставлявшие русского, или, по их выражению, «москаля», по часам ждать заказанного стакана кофе, не говоря уже о кушанье.

В цукерне Лурса, например, одному приезжему русскому, приказавшему подать себе кофе со сливками, лакей подал кофе и на тарелке слив, пользуясь тем, что сливки по-польски «сметанка», и он-де не понял посетителя.

Появившиеся по распоряжению свыше переводы на русский язык польских вывесок над магазинами и ресторанами тоже дышали в большинстве явной и злой насмешкой над государственным языком; так в окне одного из ресторанов в Краковском предместье красовалось объявление: «фляки господарски», а внизу перевод: «хозяйские внутренности».

Это мелочи, но по этим мелочам можно было судить о настроении города, имевшего в то время совсем иную, нежели теперь, политическую, если можно так выразиться, окраску.

В течение четверти века из польского города Варшава обратилась в русский, чему, конечно, немало способствовало разумное управление краем путем сближения русского общества с польским.

Войска, стоявшие в то время в этом городе, держались обособленно от горожан, и большинство их, а также и гусарский полк, в который поступил Николай Герасимович Савин, расположены были не в самой Варшаве, а в предместье Лазенках, отстоявшем от центра города в двух-трех верстах.

Это расположение полка, а также и его традиции налагали на полковую жизнь особый отпечаток тесного товарищества. Офицеры были всегда вместе, жили одной семьей, клуб же связывал их еще больше. Натянутых товарищеских отношений, часто встречавшихся в петербургских гвардейских полках, не существовало, и даже разгульно-гусарские кутежи носили чисто семейный характер.

Несмотря на такое обособленное положение военных, жизнь их все же текла в почти непрерывном веселье.

Николай Герасимович, со свойственным ему увлечением, отдался всем прелестям Варшавы, во главе которых стоял балет, насчитывающий тогда в своих рядах массу прелестных балетничек. Лихая тройка, которую он завел вскоре после его приезда в Варшаву, приводила в восторг веселых паненок – жриц Терпсихоры, и катаясь на ней, они забывали всю свою ненависть к «москалям» и всему русскому.

Женщины, всегда игравшие первую роль в истории Польши, и теперь уже начинали делать почин сближения с русскими и далеко не враждебно относились к ухаживанию поклонников-москалей.

Кутежи Савина и его ухаживания за красивейшими женщинами Варшавы скоро сделали его известным всему городу.

Быстро летело время, незаметно промелькнули еще полтора года.

Варшавская рассеянная жизнь все же оставляла возможность несколько заниматься, и Николай Герасимович успел подготовиться к офицерскому экзамену и, сдав его, был произведен, наконец, в корнеты.

Этот служебный успех вскоре, впрочем, омрачился грозными тучами.

Долги – эта петербургская болезнь Савина – появились у него и в Варшаве. Быть «веселящимся варшавянином» оказалось почти так же накладно, как и «веселящимся петербуржцем».

Кутежи и ухаживания за балетничками стоили много денег, а ловкие пауки-ростовщики, к которым приходилось обращаться, успевали незаметно для заимодавца накидывать на него свою паутину в форме переписки векселей, сумма которых возрастала в их искусных руках с какою-то чисто волшебною быстротою.

К страсти к женщинам присоединилась еще начавшаяся в Варшаве страсть к карточной игре, очень развитой в полку, где служил Николай Герасимович.

Человек крайностей по своей натуре, Савин не умел класть пределов своим увлечениям, втянулся в карты и делил свое время между женским будуаром и зеленым столом.

Счастливый в любви, он, согласно известному правилу, не был счастлив в картах и то и дело проигрывал крупные куши, все более и более влезая в неоплатные долги.

Игра в долг страшно нервировала его, всякая малость приводила, его в раздражение, почти в ярость.

Начались неприятности и скандалы.

Через несколько месяцев, по производству в корнеты, у Николая Герасимовича, жившего в казенной квартире в казармах полка, находившихся, как мы уже упоминали, в предместье Варшавы, в Лазенках, собралась вечером компания офицеров.

Шла игра в баккара.

За карточным столом, под большой висячей лампой сидело восемь офицеров-игроков, утолявших жажду карточного волнения шампанским.

Вдруг перед столом выросла, как из-под земли, приземистая, невзрачная фигурка рыжего еврейчика в засаленном лапсердаке.

Это был полковой портной Данилка.

Такие неожиданные появления поставщиков-евреев в офицерских квартирах были далеко не редкость. Им были должны все и они зорко караулили момент застать офицера при деньгах.

Никакие меры против них не действовали – они пробирались и прокрадывались мимо прислуги и неожиданно, как и в этот раз, появлялись перед своими должниками.

– Я же к вам, ясновельможный пан Савин... Не можете ли вы мне отдать мои пенендзы... Ривка моя совсем разнемоглась... Хайка-доцурка... лежит тозе больная, хоть беги до пана доктора... В доме же нет и ни ломаного злота... – заговорил Данилка, кланяясь в пояс Николаю Герасимовичу.

– Пошел вон, денег нет!.. – крикнул на него тот.

– Как же так можно, что у пана денег нет, когда пан играет в карты! Я знаю, что у пана тысячи в кармане, а бедному Данилке всего надо триста рублей, – произнес еврей.

– Пошел вон, говорят тебе!.. – вскочил рассерженный Савин.

Данилка однако не трогался с места, продолжая бормотать на своем жаргоне. Имена Ривки и Хайки то и дело слетали с его уст.

– Так ты не хочешь уйти!.. – окончательно вспыхнул Николай Герасимович. – Ну, так погоди же, я тебя сейчас застрелю, как собаку...

С этими словами Савин схватил лежавший на письменном столе револьвер, заряженный холостыми патронами для ученья, и прицелился в Данилку.

Тот, на удивление всех, даже не попятился.

– Не уходишь... – вскрикнул Николай Герасимович. Одновременно с этими словами раздался выстрел.

От сотрясения воздуха висевшая над столом лампа погасла, а когда ее зажгли, то увидели Данилку лежащим без чувств на полу.

Все присутствующие, не исключая Савина, невольно вздрогнули. У всех, как и у него, мелькнула одновременно мысль, не попал ли по ошибке боевой патрон вместо холостого.

Бросились к Данилке, подняли его, положили на диван, раздели, всего осмотрели – ни царапины.

Послали за полковым доктором, который, явившись, констатировал сильнейший обморок.

Данилку отнесли к нему на квартиру, – с ним сделалась от испуга нервная горячка.

Эта шутка, имевшая такие печальные последствия, конечно, принесла Николаю Герасимовичу много неприятностей.

Все случившееся не могло не дойти до командира полка, не говоря уже о том, что Савину пришлось щедро заплатить Данилке за лечение и убытки, понесенные им во время болезни.

Когда же он выздоровел и снова появился в полку, то очень комично объяснил случившееся:

– Я знал, что пан Савин шутит, и что пиштолет не заряжен, когда же он выстрелил, я все-таки спигался и впал... Открыв один глаз, я хотел уже встать, как вдруг гляжу – темно, тогда я подумал, что я вже умер и так сильно спигался, что со мной сделалось вдурно...

Этот случай не послужил, однако, уроком сдержанности для Савина.

Не прошло и месяца, как у него произошло новое столкновение с одним из евреев.

Это был маляр Ицко Швейнауге.

Он взялся провести разные работы в конюшне Николая Герасимовича, которую последний задумал отделать довольно затейливо. Стойла и денники красились под дуб, потолок под мрамор, приборы и шары ставились медные.

Швейнауге перебрал у него множество денег, а отделка конюшни не подвигалась вперед, несмотря на настойчивые требования Савина.

Наконец, кое-как стойла были отделаны, но краска не сохла очень долго, между тем лошадям Николая Герасимовича было тесно и неудобно в эскадронной конюшне, и он выходил из себя.

Осматривая работы, он убедился, что краска не сохнет вследствие дурного ее качества. Ицка же уверял противное, утверждая, что все уже высохло и после ухода Савина уговорил его кучера поставить для пробы серого «Визапура» в стойло.

Придя на другое утро, Николай Герасимович увидел свою любимую лошадь, сплошь выпачканную желтой масляною краскою, которую и смыть было почти нельзя.

Узнав же, как было дело, он окончательно взбесился и напустился на Швейнауге, почувшего бурю и от страха забившегося в самый темный угол конюшни.

– Так это ты устроил эту пакость! Ах ты негодяй! Конюшню всю изгадил, а теперь еще лошадь мне испортил...

– Да, нечего сказать, изукрасил «Визапура», – заметил один из двух пришедших к Николаю Герасимовичу товарищей.

– Изгадил лошадь в конец, проклятый жидюга, – вставил второй.

– Ну, Ицка, за твое нахальство я тебя накажу твоей же паршивой краской! Взять его! – крикнул Савин своим конюхам и рейткнехту. – Вешайте его на этот крюк и выкрасите его самого.

Солдаты и кучера, довольные случаем потешиться над жидом, быстро бросились исполнять его приказание, подвесили Швейнауге на вожжах под мышки на фонарный крюк и длинною кистью быстро выкрасили с головы до ног желтою краскою.

Барахтаясь в воздухе, Ицка вопил благим матом.

Его крики и вопли долетели до офицерского собрания и канцелярии полка, оттуда пришли офицеры, и хотя хохотали до упаду, но уговорили Николая Герасимовича велеть снять Швейнауге с импровизированной виселицы.

Вне себя от ярости, Ицка с места побежал к командиру полка и не удовлетвовавшим этим, кинулся в город жаловаться обер-полицеймейстеру, представ перед обоими начальствующими лицами в том виде, в каком был снят с фонарного крюка, то есть сплошь вымазанный желтой краской.

За эту проделку Савин высидел три дня на гауптвахте.

Подобные скандалчики, в связи с все возрастающими неоплаченными долгами, привели Николая Герасимовича к необходимости оставить полк, подав прошение об отставке.

С горьким чувством расстался он с ним и с Варшавой и отправился в отпуск в Петербург, чтобы там выждать получение указа об отставке.

В Петербурге ожидали его две встречи, роковым образом отразившиеся на всей его последующей жизни.

Он влюбился и совершил первое преступление... но не будем предупреждать событий.

VII

На берегах Невы

Петербург, после более двухлетнего отсутствия, Николай Герасимович нашел таким же, каким и оставил.

Мы говорим, конечно, не о внешнем его виде, почти сплошь построенном из долговечного камня и гранита, а о его внутренней жизни и, главным образом, о жизни того круга общества, в котором вращался Савин перед переходом в Варшаву.

Остановившись в «Европейской» гостинице, он стал посещать свой старый полк и товарищей, которые приняли его с распростертыми объятиями.

Большая часть товарищей Николая Герасимовича все еще были юнкерами, и во главе их царил все тот же Яша Хватов.

Он сделался положительно известностью Петербурга, по своей разгульной жизни и расточительности, а еще более по своей фигуре.

Хотя ему было только двадцать лет, но он расплылся до необъятной толщины, и лицо его, лишенное растительности, было похоже на полнолуние.

Этот-то бочкообразный юнкер появлялся везде и выкидывал штуки, до того времени неслыханные в Петербурге.

Своими выездами и лошадьми он до того намозолил глаза начальству, что вышел приказ, запрещавший юнкерам ездить иначе, как на извозчиках.

Яша Хватов, однако, не сдался; он немедленно взял в думе несколько извозчичьих ярлыков и, прибавив их ко всем своим экипажам, с прежним треском стал показываться на Большой Морской и на Невском в обычные часы катанья.

Роскошные экипажи с извозчичьими номерами, прибитыми на самом видном месте, невольно обращали всеобщее внимание.

Посмеялись этой выходке и махнули на него рукой.

Жил Хватов на Пантелеймоновской, близ Моховой, и занимал один целый дом, а на дворе помещались его знаменитые конюшни, каретные сараи и манеж.

Квартира его была похожа скорее на ресторан или клуб, чем на частное помещение.

Лакеев, гайдуков, карликов у него был целый взвод, и все они были одеты в ливрейные костюмы.

Сам Хватов дома одевался в генеральскую форму и все его величали «ваше превосходительство».

Товарищи, в особенности юнкера, были у него как дома, ели, пили, даже спали без всякой церемонии.

Все это рассказал Николаю Герасимовичу его закадычный друг Михаил Дмитриевич Маслов, встретивший по телеграмме своего приятеля на Варшавском вокзале и поехавший с ним в карете в Европейскую гостиницу.

Савин очень заинтересовался этим рассказом, заставил Маслова продолжать его в номере гостиницы, наскоро переодевшись из дорожного платья и заказав завтрак.

Приятели сидели в ожидании этого завтрака на удобном турецком диване и курили сигары.

– Когда же он будет произведен? – спросил Савин, продолжая разговор о Хватове.

– Не знаю. Он теперь освобожден от полковых занятий, так как готовится к офицерскому экзамену. Да какие это занятия? – засмеялся Михаил Дмитриевич.

– И как это ему все сходит с рук... Вот что значит независимое состояние... – вздохнул Николай Герасимович, вспомнив о своем положении в последнее время в полку.

– Да разве это одно, то ли еще ему сходит и сходило... – заметил Маслов. – Я тебе не рассказал и десятой доли...

– Что же еще?

– Что?! Компания подобралась у них очень теплая... Я и многие офицеры перестали бывать... Прямо предосудительно. А с ними юнкера, офицеры из пехотных полков, несколько штатских – отчаянных буянов, и всеми коноводит Хватов и князь...

– Какой князь?

– Карноухов... помнишь?..

– Помню, помню...

В это время лакеи на двух серебряных подносах внесли кушанья, вина и приборы.

Приятель умолкли и через несколько минут сели за накрытый стол и дымящиеся кушанья.

– Рассказывай, рассказывай... – проговорил Николай Герасимович, когда первый голод был утолен и приятели выпили по стакану душистого «Шамбертена».

– Взяв, как я уже тебе рассказывал, – начал Маслов, – извозчицьи ярлыки, Хватов придумал воспользоваться ими для новой забавы, и вот, купив извозчицких троечных и одинокных саней, он с компаниею запрягают их по вечерам и выезжают на Невский. Посадят там какого-нибудь господина и везут в противоположную сторону той, куда он нанял. Седок ругается, импровизированный извозчик хохочет и наконец выталкивает седока и удирает... Ну и забавно...

– Верно, что забавно, – заметил Савин.

– В большинстве же эти извозчики-дилетанты собираются у театральных подъездов, чтобы развозить актрис, причем главное старанье прилагают к тому, чтобы разлучать мужей с женами, увозя каждого в противоположные стороны... Говорят, что несколько увезенных жен, с их согласия, попадали в «штаб-квартиру», как они называют квартиру Хватова...

– Молодцы ребята! – вставил Николай Герасимович.

– Не оставляют они в покое и гимназисток старших классов при выходе из гимназии, и из них некоторые тоже, как слышно, не миновали «штаб-квартиры»... а одна так туда совсем переселилась на житье и завела амуры с князем... И теперь живет у Хватова... После езды дилетанты-извозчики собираются в «штаб-квартиру» и рассказывают свои похождения... Кто что чудней придумал.

– И не надоедает им, однако, это? – спросил Савин.

– Отчего надоесть... Они разнообразят удовольствия... Несколько вечеров извозничают, а то садятся в тройки и летят по городу из конца в конец, бьют стекла в окнах саблями и палашиами, скандал, свистки полиции, а они на лихих лошадях уезжают в карьер; а то примутся тушить уличные фонари особо приспособленными для того палками...

– А ведь это, Маслов, превесело!.. – воскликнул оживившийся Николай Герасимович.

– Как кому... По-моему, безобразие.

– Ну, ты известный служака... – захохотал Савин. – Мы, кажется, потому с тобой и приятели, что крайности сходятся...

– Может быть... – отвечал Михаил Дмитриевич.

– Нет, ты расскажи еще... – приставал к нему Савин.

– Ишь тебя разбирает... Кажется, сейчас бы ты полетел бить стекла и тушить фонари, несмотря на то, что надел офицерский мундир.

– Скоро придется его снять... – вздохнул Николай Герасимович.

– Что так?

Савин в кратких словах рассказал ему свои варшавские злоключения.

– Скверно, голубчик, – заключил он. – Поневоле, чтобы забыться, будешь бить стекла, да фонари тушить...

– Что же ты думаешь делать... К отцу?..

– Конечно, к отцу... Но что обо мне... Одна грустная канитель... Порасскажи-ка лучше еще что-нибудь о Хватовской компании.

– Да что же еще рассказать... Разве вот, когда ты мне сейчас рассказывал, как ты жидя желтой краской вымазал, то я вспомнил, что они эту штуку у тебя предвосхитили и давно практикуют.

– Как так?

– Да так... По дороге на острова, в «Ташкент» или «Самарканд», – это их излюбленные места кутежей, – заезжают на Петербургскую или Выборгскую сторону, разыщут дом, где происходит какая-нибудь вечеринка, именины или свадьба... Дома там низенькие... Остановятся, двое выйдут из экипажа и постучат в окно... Открывается обыкновенно форточка и в нее показывается голова какого-нибудь расфранченного чиновника с вопросом на лице. В один миг один схватывает его за волосы, а другой приготовленной заранее щеткою с ваксой или копытною мазью мажет злосчастному франту лицо, потом вскакивают в тройки и только их и видели...

– Ха, ха, ха... – неудержимо хохотал Николай Герасимович. – Хороша должна быть картина появления из форточки вымазанного кавалера, еще молодого мужа, пожалуй.

– Ты, братец, неисправим, – покачал головою Маслов, – и я, не будучи пророком, могу предсказать, что через несколько дней ты будешь в их компании...

– Сказал тоже, – недовольным тоном возразил Савин, – но довольно о них и переменим разговор. Что театр, что «Буфф»?..

– Какой там «Буфф», о «Буффе» почти позабыли... Теперь здесь новый храм искусства, с позволения сказать... – презрительно усмехнулся при последних словах Михаил Дмитриевич.

– Это ты о театре Берга?.. Я слышал в Варшаве...

– Еще бы, слава о нем идет не только по всей России, а по всему миру... Недаром говорит пословица: «Добрая слава лежит, а худая бежит».

– Интересные есть сюжеты...

– Очень, надо сознаться... Филиппо способна своими песенками воскресить мертвого, Blanche Gandon со своею «La chose» делает юношей дряхлого старика. Недаром весь Петербург съезжается теперь к Бергу по вечерам... Седина и обнаженные от волос головы блестят по всему театру попеременно с золотом военной молодежи... Старички покровительственно относятся к молодым людям и даже оказывают им своего рода содействие.

Маслов горько усмехнулся.

– Однако, ты совсем стал моралистом... – вставил слово Савин в филиппику своего приятеля.

Маслов не слышал этого замечания и продолжал:

– Мой дядя, заслуженный старик, на днях изрек следующий приговор театру Берга: «Ce n'est que quelque chose de piquant, un passetemps agréable de moments perdus. Les françaises sont si drôles, si amusantes, qu'ont peut leur pardonner tous les entraînements qu'elles causent».¹ Это освежает, mon cher, – прибавил он, – пусть мои сыновья лучше идут к Бергу, чем знакомятся с Базаровым, Ренаном и другими пакостями, которые их сделают нигилистами... Мои двоюродные братцы, – закончил свой монолог Михаил Дмитриевич, – конечно, далеки от посещения Берга по принципу, в них кипит жизнь, бушуют страсти и им каждый омут по вкусу...

– А ты-то там бываешь? – спросил его между тем Николай Герасимович.

– Заезжаю иногда... Больше ведь некуда, там все...

– А-а... – произнес Савин. – Поедем сегодня...

¹ Это только нечто пикантное, остроумное, приятное препровождение свободных минут. Французенки так милы, так забавны, что им можно простить многие их выходки.

– Пожалуй...

– Так я распоряжусь послать за билетами.

– Это надо заранее, вечером в кассе висит неизменный аншлаг: «Билеты все проданы».

Николай Герасимович позвонил и, приказав убрать со стола, сделал распоряжение, чтобы на этот вечер ему достали два кресла первых рядов у Берга, не стесняясь в цене, у барышника, если нет в кассе.

Лакей произнес стереотипное «слушаю-с» и удалился с подносом и посудой.

Прятели еще несколько времени провели в приятной беседе, темой для которой служила та же петербургская злоба дня.

Савин со своей стороны восторженно описывал Маслову прелести варшавской жизни и миловидность и веселость польских балетничек.

Наконец Михаил Дмитриевич простился и уехал, обещав заехать за Николаем Герасимовичем перед театром.

Савин остался один.

VIII

Без любви

Николай Герасимович после ухода Маслова несколько раз прошелся по комнате, затем сбросил с себя тужурку и лег на тот самый турецкий диван, на котором только что сейчас вел беседу со своим приятелем.

Странное впечатление произвела на него эта беседа.

В то время, когда Михаил Дмитриевич говорил, Савин с интересом слушал все подробности похождения Хватовской компании, и даже – он сознавал это – с таким интересом, что Маслов был прав, говоря, что он сейчас бы готов принять в этих похождениях живое участие. При описании Масловым прелестей театра Берга, Николай Герасимович с наслаждением думал, что в тот же вечер ближе, как можно ближе, познакомится с «рассадником русского беспутства», как называл этот театр его приятель.

Личность рассказчика не играла тогда никакой роли для слушателя: Савину было совершенно безразлично, как относился Маслов ко всему передаваемому им, а главное, почему он, его товарищ, выработал такие отношения к явлениям жизни, которые представлялись ему, Николаю Герасимовичу, такими заманчивыми и увлекательными.

Только после ухода Михаила Дмитриевича Савин вдруг задал себе этот вопрос и стал ломать над ним свою голову.

Эта непривычная для него работа была мучительна.

Муки эти усугублялись еще тем, что Николай Герасимович как-то вдруг понял, что во всей только что окончившейся беседе с Масловым, он, Савин, играл далеко не достойную роль, что Михаил Дмитриевич смотрел на него сверху вниз, со снисходительным полусожалением, что тон, с которым он кинул ему пророчество о том, что не пройдет и нескольких дней, как он, Савин, появится в Хватовской компании, был прямо оскорбительный.

Вся кровь бросилась в лицо Николая Герасимовича.

Быть оскорбленным – тяжело, но быть справедливо оскорбленным – еще тяжелее.

Сознавать превосходство над собой оскорбителя – невыносимо.

Савин же испытывал два последние тяжелые сознания.

Он как-то инстинктивно понимал, что Маслов имеет нравственное право так говорить ему и так относиться к нему.

Почему? – этот вопрос оставался для него открытым.

Его-то, вдруг, до боли, до физической боли захотелось разрешить Николаю Герасимовичу.

Среда, воспитание, служба – все эти условия жизни были одинаковы как для него, так и для Михаила Дмитриевича.

Почему же он, Савин, прав, тысячу раз прав Маслов, с удовольствием будет бить стекла в окнах, тушить фонари по улицам, мазать физиономии чиновников-франтов копытной мазью, а Маслов, Маслов делать этого не будет.

«Пустота жизни!» – пронеслась в голове Николая Герасимовича шаблонная фраза, служащая оправданием шалопаев.

«Пустота жизни! – Может быть это и верно... Но его и моя жизнь одинаковы, – продолжал рассуждать мысленно сам с собой Савин. – Чем наполняет он ее, эту пустоту?»

«Службой...» – вот что первое пришло ему в голову.

Он вспомнил, что еще во время разговора, видимо под влиянием зародыша мучившего его теперь вопроса, он назвал Маслова «служакой».

Нет, гвардейская и особенно кавалерийская служба оставляет массу свободного времени, которого положительно некуда деть и которое поневоле образует эту пустоту, являющуюся,

как до сих пор был убежден Николай Герасимович, причиной кутежей и безобразий вроде тех, которые позволяют себе Хватов с компанией.

Савин откинул этот ответ, как не выдерживающий критики.

«Науками, военными науками... Уж не готовится ли Маслов в академию...» – мелькнуло в уме Николая Герасимовича.

Это было, однако, менее чем на мгновение.

Савин даже расхохотался от этой мысли.

Еще в лице Маслов не отличался способностями и прилежанием, был феноменальным лентяем, офицерский экзамен сдал с грехом пополам и, как говорили тогда, даже по протекции.

Какая тут академия!

Чем же наполнил он эту пустоту жизни? Почему он сделался даже моралистом и сверху вниз смотрит на него, Савина, и на других, подобных ему прожигателей жизни, для которых наслаждения мгновениями составляют цель жизни, а цепь этих мгновений – самую жизнь. Какие, более серьезные, жизненные цели знакомы Маслову и почему они не знакомы ему, Савину?

«Семейная обстановка? – несется в голове Николая Герасимовича. – Но ведь Маслов, как и я, был привезен отцом, служащим в Сибири, в лицей и оставлен одиноким, у него нет даже – он говорил ему – ни сестер, ни братьев, в Петербурге есть родственники, но и у него, Савина, они есть...»

Николай Герасимович даже вспомнил, что надо к ним еще сегодня заехать с визитом, вынул из маленького кармана рейтуз часы и посмотрел на них...

Был третий час в начале.

«Еще успею!» – подумал он, не поднимаясь с дивана, видимо не желая расстаться еще с неразрешенным вопросом.

Не семейной, значит, обстановкой заполняет свою жизнь Маслов! Чем же? Чем?

«Чувством!.. Любовью!..» – вдруг осенило Николая Герасимовича.

Он как-то вдруг разом понял, что это именно так, что он наконец нашел искомое.

– Он любит, – проговорил он даже вслух и как-то невольно повторил это слово:

– Любит!

«Я никогда еще не любил...» – со вздохом подумал он, и все лицо его, выразительное, красивое, подернулось вдруг дымкой грусти.

Николай Герасимович стал припоминать свои отношения к девушкам и женщинам с самой ранней юности, чуть ли не с отрочества, даже с детства.

Среди воспоминаний последнего перед ним промелькнул образ мадемуазель Эрнестины, высокой, стройной француженки, его первой гувернантки, даже, пожалуй, бонны... Он припомнил ее грациозную походку, плавные движения, матовый цвет лица, оттеняемого как смоль черными волосами, и большие карие глаза... Ему было восемь-девять лет и он обожал ее... Он по целым часам глядел на нее, затаив дыхание. Ей он обязан превосходным знанием французского языка, он с любовью учился у нее ее родному говору, прислушиваясь к чарующей музыке ее речей... Ее взгляд, обращенный на него, приводил его в трепет; когда она, чтобы приласкать, сажала его к себе на колени, он весь дрожал от волнения... Он не мог объяснить себе этого чувства – он говорил, что он обожает мадемуазель Эрнестину. Это обожание заметили отец и мать, замечали соседи, они смеялись над ним, называя его «влюбленным». Детское сердце до боли сжималось от этих шуток над его чувством. Он стискивал свои кулачки, чтобы скрыть готовые брызнуть из глаз его злобные слезы. Когда мадемуазель Эрнестина, прожив три года, уехала за границу, он был неутешен, не хотел слушаться новой гувернантки, старушки Пикар, и с того времени начались проявления его несдержанности, прямо необузданности – черты, которые – он сам признавал это – остались до сих пор в его характере.

Перед Николаем Герасимовичем восстало время, проведенное им в Москве перед переходом в гусарский полк.

В Москве в то время все знали двух хорошеньких сестер Баум, за которыми бегала вся московская молодежь.

Сестры Баум бывали везде и особенно часто их можно было встретить на балах и вечерах дворянского собрания и на модном тогда катке Фомина.

Звали их просто по именам, Тиночка и Эммочка.

Представленный на балу в дворянском собрании, Николай Герасимович стал бывать в доме их матери, толстой немки, с сильно подведенными глазами, и вскоре сделался неразлучным спутником прелестной Тиночки.

Шестнадцатилетняя красавица овладела его сердцем, и он отдался страсти слепо, без рассуждений. Пылкий по натуре и необузданный по нраву, он влюбился, что называется, по уши.

Да и было в кого. Прелестная, высокая, стройная и замечательно красивая девушка была умна, приветлива и без всякой натянутости, так свойственной московским барышням.

Темные волосы окаймляли красивое матовое с правильными чертами лицо; носик с горбинкой был изумителен, темные большие глаза смотрели так нежно, и пухленькие алые, сулящие страсть, губки прикрывали два ряда жемчужных зубов.

«Это-то была наверное любовь, первая, чистая!» – думал Николай Герасимович, восстанавливая, как мы видели, в своем воображении чудный образ пленившей его девушки.

Она как живая стояла перед ним.

«Была ли это любовь?» – снова задал он себе вопрос и, несмотря на то, что еще так недавно разрешил его утвердительно, теперь, обдумав, изменил свое решение.

Нет и нет... это была только страсть, брожение молодой крови. Любовь не излечивается покупными лобзаниями.

«Я никогда не любил...» – закрыл лицо руками Николай Герасимович.

«Пустота жизни – это жизнь без любви...» – *сделал* он вывод из всего им передуманного.

IX

Катя-Чижик

Театр Берга был действительно набит, что называется, битком. Савин и Маслов приехали в половине первого отделения. Филиппо только что спела свое знаменитое «L'amor» и театр положительно дрожал от аплодисментов и буквально стонал от криков «браво», «bis» и «фора».

Николай Герасимович и Михаил Дмитриевич прошли в первый ряд кресел среди этого бушующего моря голов с шевелюрами всех оттенков, между которыми, впрочем, преобладала седина и порой совершенное отсутствие шевелюры.

Всех почти, кого встретили они в первых рядах партера, они знали, если не лично, то по фамилиям – это были сливки мужской половины петербургского общества, почтенные отцы семейств рядом с едва оперившимися птенцами, тщетно теребя свои верхние губы с чуть заметным пушком, заслуженные старцы рядом с людьми сомнительных профессий, блестящие гвардейские мундиры перемешивались скромными представителями армии, находившимися в Петербурге в отпуску или командировке, изящные франты сидели рядом с неотесанными провинциалами, платья которых, видимо, шил пресловутый гоголевский «портной Иванов из Парижа и Лондона»; армяне, евреи, немцы, французы, итальянцы, финны, латыши, татары и даже китайцы – все это разноплеменное население Петербурга имело здесь своих представителей.

Приманкой для всей этой «смеси одежд и лиц, племен, партий, состояний» – служил персонал исполнительниц.

Большая часть шансонеток пелась на французском языке парижскими бульварными певицами, приехавшими за русскими рублями.

Их лихой, бравурный шик, остроумный, доходящий до грации, цинизм, хорошо гримированные, хорошенькие, пикантные личики исполнительниц, более, чем откровенные костюмы – все это разжигало страсти даже пресыщенных и устарелых людей и туманило головы молодежи.

Француженки были все на содержании или искали содержателей, обнаруживая при этом изумительные таланты, не столько на сцене, сколько за кулисами, умением вскружить головы всем, кто, так или иначе, попадал в их набеленные ручки.

Корифейки пристраивались к старичкам-капиталистам, заурядные отдавались молодежи. Любовники и содержатели были известны всем завсегдатаям театра и отношения их к содержателям были на виду, у всех.

Все было, как говорят в Сибири, «за всяко просто».

Между сценой и зрительной залой существовала несомненная связь, к сожалению, не духовная.

В театре собственно было мало театрального.

Причину колоссального успеха и ежедневного полного сбора надо было искать в том, что избалованные петербуржцы воспринимали эротический наркоз при одном появлении на сцене полуобнаженного цинизма и им было все равно, в каком бы диком и необузданном разгуле он не проявлялся.

В то время, когда Николай Герасимович в первый раз посетил театр Берга, он уже только носил фирму своего основателя.

Сам Берг, нажив солидный капитал, бросил антрепризу, и театр стал переходить из рук в руки, от одной певицы к другой.

Конечно, антреприза велась на средства любовников, и первым после Берга антрепренером был знакомый нам Яков Андреевич Хватов для своей содержанки Антуанетты.

Последняя была, собственно, второстепенная шансонетная певица, но положительно умирала от зависти к своим подругам, имевшим успех на сцене, или, как Филиппо и Бланш Гандон, пристроившихся к богатым сановным старичкам.

Но «певичка Антуанетта» была смела и предприимчива, а Хватова нашла денег больше, чем у все-таки несколько сдерживавшихся старичков, а устроить временную прочность связи и подчинить себе всегда полупьяного любовника для нее, как и для каждой француженки, прошедшей огонь и воду и медные трубы еще в родной Франции, было делом нетрудным.

Чем затея была оригинальнее и новее, тем более она привлекала такие натуры, какою отличался самодур новейшей формации Хватов.

Ему было всякое море по колено и на всякое дело у него были деньги.

Стоило поэтому Антуанетте подзадорить Якова Андреевича как он не задумываясь сделался антрепренером театра Берга.

Однако, управление театром, да и самим Яшей, Антуанетте вскоре наскучило и нажившись достаточно, директриса уехала с берегов Невы на берега Сены менять рубли на франки и экю.

В момент описанного нами приезда Савина в Петербург и первого посещения театра Берга антреприза его принадлежала русской певице Екатерине Ивановне Сергеевой, известной под прозвищем Катька-Чижик.

Эта Катя было своего рода петербургскою известностью.

Простая работница одной из прачечных в Подъяческой, она пала шестнадцати лет и пошла по торной дорожке «жертвы общественного темперамента».

Характерной чертой Кати была погоня за деньгами... «Денег, денег и как можно больше» – было ее постоянным девизом.

Еще до поступления на сцену театра Берга, будучи простой уличной авантюристкой, с манерами прачки, но с хорошеньким, пикантным личиком, всегда веселой и задорной, она целыми днями кочевала одна или с переменными подругами из трактира в трактир, оригинальничала, заходила в бильярдные – всюду и всегда имея одну цель «поймать чижику», как она сама прозвала трехрублевую бумажку, составлявшую тогда предел ее мечтаний.

Отсюда и пошло ее прозвище.

Большая часть таких «милых, но погибших созданий», к которым принадлежала Катька-Чижик, существа в высшей степени несчастные.

Они тяготеют тем образом жизни, который им выпал на долю, ведут эту жизнь с отвращением и лишь настолько, насколько это неизбежно, чтобы иметь скудный кусок насущного хлеба.

Иначе смотрела на избранную ею карьеру Катька.

Она обратила свое поведение в строго определенную цель наживы и смотрела на себя, как на машину, пущенную в ход, чтобы возможно больше добыть денег.

Был ли это расчет или мания – трудно ответить на этот вопрос, но, во всяком случае, это было явление исключительное.

То же стремление к наживе проявилось в ней и тогда, когда какой-то господин из персонала мелких служащих театра Берга пристроил ее в хористки. У нее был голос приятного тембра, был слух, она вскоре сумела перенять непринужденно-вызывающую манеру держать себя у берговских француженок, и таким образом, не имея ровно никакого сценического дарования, была неотразима и имела громадный успех, что доказывалось массой поклонников, забросавших ее деньгами.

Через два-три года после прачечной Катя-Чижик уже имела некоторые сбережения и вдруг сделалась очень разборчива в выборе между своими обожателями.

Среди них был, между прочим, колоссально богатый, чувственный и очень юный граф, Егор Петрович де Дибюисон, или, как его называли в кругу петербургской золотой молодежи, «граф Жорж».

Сметливая от природы, Катя поняла, что с влюбленного юноши она может сорвать больше своею недоступностью, нежели получала с других за свою доступность, и начала свою искусную игру.

Граф Жорж мучился холодностью бывшей уличной авантюристки, положительно потерял голову и готов был на всякую безумную выходку, чтобы добиться взаимности очаровавшей его женщины, разжигавшей в нем страсть и ревность своей почти явной благосклонностью к другим.

Он привязался к ней не на шутку.

Катя тоже поняла это, как поняла и то, что карман графа очень и очень объемистый и туго набит предками-эмигрантами, веками умножавшими состояние рода.

Судьба графа решена была в двух словах.

«Или я хозяйка у Берга, или прощай!» – сказала ему Катька-Чижик.

Ответ, конечно, последовал ожидаемый ею.

Граф был «весь ее».

Катя, никогда не имевшая даже порядочной комнаты, почти не бывавшая дома, из грязи трактиров и номеров мелких гостиниц вдруг очутилась в роскошной квартире собственного дома на Караванной, отделанной по графскому вкусу, ничуть не потерялась, а напротив, быстро свыклась со своим положением и вошла в роль домовладелицы и директрисы театра.

Она сразу остепенилась.

Мысль наживы, бывшая рычагом всей ее жизни, нашла себе другие проявления – она занялась сама всецело театром и заняла им своего «графчика».

Последний привязался к ней так, что готов был на ней жениться, но от этого отклоняла его сама Катя да своевременное вмешательство старших офицеров того полка, в котором он служил юнкером.

Связи с певицами от Берга, впрочем, нередко завершались браками, и не один блестящий гвардеец увез в свои родные поместья супругу с подмостков театра Берга.

Оставаться с шансонетными супругами в полках и даже в Петербурге было, конечно, невозможно, и парочки улетали в провинцию, где состояние и положение в свете мужей открывало новым дамам двери во все дома и где «берговские певички» щебетали вскоре в ролях предводительниц, супруг почетных мировых судей и других представительниц провинциального *boueau monde*'а.

Антреприза Катьки-Чижик была лучшим временем процветания театра Берга.

Мы поспешили воспользоваться временем, когда в театре происходили шумные оации по адресу Филиппо, повторявшей без конца, по требованию публики, заключительные куплеты своего знаменитого «L'amour» и ушедшей наконец со сцены, грациозным жестом указывая на утомление горла, чтобы познакомить читателя с Катькой-Чижик, которой суждено играть в нашем дальнейшем рассказе некоторую роль.

Типичное явление того времени, она, как и театр Берга, послуживший почвой для ее полного расцвета, и без того, впрочем, стоило бы описания.

После Филиппо был ее выход.

Она появилась грациозная, с кошачье-вкрадчивыми манерами, со смеющимся личиком, вся в белом, в короткой юбочке и откровенном декольте, дававшем возможность судить о ее сложении, в огромной белой шляпе, оттенявшей блестящие волосы, играя своими веселыми, искрящимися глазами и запела.

Николай Герасимович с любопытством глядел на нее, так как Маслов рассказал ему о ней все то, что известно нашим читателям из этой главы.

X

Выгодное пари

Михаил Дмитриевич Маслов действительно оказался пророком. Пророчество его исполнилось раньше, нежели он назначил.

Из театра Берга Маслов уехал один. В одном из последних антрактов Николай Герасимович, куда-то в предшествовавшие антракты исчезавший, обратился к Михаилу Дмитриевичу.

– Будь другом, исполни мою просьбу...

– Что такое?

– Отужинаем вместе после театра.

– С охотой... Пойдем... Куда?..

– Куда? Конечно, за город... И с дамами... – добавил, после некоторой паузы, Савин и внимательно, с тревогой, посмотрел на своего приятеля.

– Вот как с дамами, ты уже обзавелся... Быстро... Ну, будь по-твоему, пожалуй, и с дамами, – после некоторого раздумья согласился Маслов.

– Так и пойдем всей компанией... – уронил будто невзначай Николай Герасимович.

– С компанией?.. Может с Хватовым? – резко спросил Михаил Дмитриевич.

– И... с ним... – с расстановкой, покраснев, произнес Савин. – Да что тебе, ты со мной...

– Нет, слуга покорный... не поеду...

– Как же так?

– Поезжай один... Чай, не маленький... Что я тебе за нянька такая...

– Но мы почти целый день вместе... Я не хочу с тобой расставаться...

– Увидимся... – махнул рукой Михаил Дмитриевич. – Кстати, пойду откланяюсь моему дядюшке, тому самому, который, как я тебе рассказывал, из принципа возит сюда своих сыновей.

Маслов отошел от Николая Герасимовича и скрылся в толпе. На последнем отделении он не явился в партере.

– Удрал... – подумал Савин, и какая-то тяжесть, показалось ему, свалилась с его плеч.

Маслов был ему не пара, и его присутствие тяготило, смущало.

«Счастлив в любви, ну и сиди дома, – с насмешкой подумал он, – а мы, мы поедем „играть в любовь“, это, пожалуй, даже лучше, нежели всерьез...»

Николай Герасимович горько усмехнулся.

Савин действительно уже обзавелся дамой, собственно «обзавелся» – выражение не совсем точное, так как певица, которой он увлекся, принадлежала к исключительным явлениям театра Берга – она была замужем.

Последнее обстоятельство было бы, впрочем, с полгоря, если бы супруг не находился почти безотлучно около своей законной половины, а ее чрезвычайно симпатичный голосок и врожденный шик, который она умела вкладывать в исполняемые ею неуклюжие, часто коробившие откровенным цинизмом ухо «русские шансонетки», были источником его благосостояния. К чести супруга следует сказать, что другие стороны, кроме артистической, не входили в его определение доходности супруги.

Это знали «завсегдатаи» театра Берга, и на ужины приглашали и его, как неизбежное зло.

В общем он был все-таки очень покладист и на ухаживания и даже довольно двусмысленные заигрывания с женой смотрел сквозь пальцы, охраняя лишь свои супружеские на нее права, своеобразно понимая их нарушение лишь окончательным ее падением.

Симочка, как звали эту певицу подруги, или Серафима Николаевна Беловодова, была грациозная миниатюрная блондинка, с тем льняным цветом волос, который, и то редко, бывает у маленьких девочек и чуть ли в единичных случаях сохраняется у взрослых. Тонкие, нежные

черты лица, правильный носик и пухленькие губки, несмотря на то, что Симочке шел двадцать четвертый год, придавали ей вид девочки, и лишь большие темно-карие, почти черные глаза, горевшие бедовым, много сулящим огоньком, красноречиво выдавали в ней женщину.

Симочка, как и Катька-Чижик, попала на сцену, не готовясь к ней, хотя сферы общества, из которых они вышли, чтобы встретиться на театральных подмостках, были совершенно противоположны.

Серафима Николаевна происходила из почтенной семьи потомков обрусевших шведов. Отец ее был чиновник, но рано умер, оставив многочисленное семейство на руках матери.

Два сына, из которых один находился в военной службе, а другой в гражданской, не могли особенно много помогать матери, так как их скудного жалованья едва хватало на удовлетворение их личных потребностей, а потому Агриппина Кирилловна – так звали мать – чтобы кое-как воспитать и пристроить своих дочерей, открыла в Петербурге меблированные комнаты.

Дело пошло довольно удачно, и семья не бедствовала.

Дочери подрастали, старшая вышла замуж за банковского чиновника, вторая – которая и была Симочка, порхала неутомимо на танцевальных вечерах Благородного собрания, ища свою судьбу.

Третья была застенчивая дикарка и сидела дома за домашним рукодельем, в котором дошла до необычайного искусства.

В Благородном собрании и отыскалась действительно судьба Симочки в лице Андрея Андреевича Беловодова, выдававшего себя за богача и чуть ли не вельможу – он, по его словам, разыскивал утраченное «графство».

Ветреная Симочка увлеклась и признала его не только «графом», но и владетельным князем своей особы.

Свадьба была сыграна и вскоре наступило разочарование. У молодого супруга, кроме долгов и замашек к кутежам, не оказалось ничего, ни родового, ни благоприобретенного, и Агриппина Кирилловна должна была уделять на пропитание молодым крохи из своей мизерной пенсии.

Всегда полный разных проектов и планов, Андрей Андреевич не удерживался более месяца на службе, которую ему выхлопывали ради жены, общей любимицы всех ее знавших, и наконец занялся пресловутой «театральной агентурой», которая давала ему возможность кутить с артистками и их поклонниками в то время, когда его жена сидела дома на хлебе и колбасе.

Одним из его проектов – единственно удавшимся – было вывести на сценические подмостки жену, сперва, как мы уже сказали, в роли «дамы напрокат» фокусников и, наконец, в роли «шансонетной певицы».

«Театральный агент» ликовал – в театре Берга Симочка зарабатывала хорошо и даже получала, с разрешения мужа, подарки от поклонников.

Ее саму – это было видно – тяготила эта опека эксплуатирующего ее супруга, она не прочь была и пошалить, но Андрей Андреевич внушал ей какой-то панический страх.

«Как посмотрит он на меня пристально, точно меня всю пронизывает... – рассказывала она подругам, по поручению вздыхателей, уговаривавших ее „пошалить“. – Страшно очень... да и куда от него укроешься, ведь как тень ходит...»

В голосе ее слышалось раздражение.

Этой-то Симочкой и увлекся в первый же вечер посещения театра Николай Герасимович Савин, с ней-то «играть в любовь» он и поехал из театра с компанией Хватова, других артисток и не покидающим жену Андреем Андреевичем в «Самарканд».

С этого вечера Савин не расставался с «теплой», как называл ее Маслов, компанией Хватова, по целым дням пребывал в «штаб-квартире» и редкие вечера не был в театре Берга и не виделся с Симочкой.

Последняя, видимо, благосклонно принимала ухаживание Николая Герасимовича, но черные глаза ее мужа мощно держали ее в должных пределах.

«Как избавиться от этого черного дьявола!» – восклицал вне себя Савин и начал ломать голову над приисканием этого средства.

«Споить!» – мелькнуло у него в голове.

Но это уже, он знал по опыту, не удавалось. Андрей Андреевич чуть бывало заметит, что ему с целью подливают вина, перестает пить совсем.

Хватов, князь Карнаухов и другие члены «теплой компании» принимали горячее участие в Николае Герасимовиче и всячески готовы были помочь ему завести интрижку с «канарейкой», как звали они Симочку, но «черный ворон» – так прозвали они мужа ее, разрушал все их планы.

Наконец план был составлен.

Придумал его сам Николай Герасимович.

В одно прекрасное утро он явился в «штаб-квартиру».

– Друг Хватов, окажи услугу... и Симочка моя...

– Ну... изволь, говори, что делать... – отвечал тот.

– Устрой завтра после театра пикник у себя в Красном.

– В Красном... Зачем это?..

– Не спрашивай... чудней будет, когда будет для тебя неожиданно...

– Хорошо, будь по-твоему... Сейчас пошлю все устроить и приготовить... придется там заночевать... Эй, люди!.. Дворецкого...

Явившемуся человеку Яков Андреевич отдал соответствующие приказания.

Надо заметить, что в первый же лагерный сбор, по поступлении на военную службу, Хватов не нашел в Красном Селе избы себе по вкусу, а главное конюшни лошадям и, не задумываясь, купил землю и с изумившей всех быстротою выстроил дачу для себя и при ней образцовую конюшню.

Дом состоял из десяти комнат с мезонином, балконом и террасами. Роскошно меблировав ее, он каждый год переезжал в нее во время лагерного сбора – это была летняя «штаб-квартира».

Зимой там был тоже штат прислуги, хотя и значительно уменьшенный.

На эту-то дачу на другой день после спектакля и полетело пять троек с веселой компанией, среди которой была Симочка и Андрей Андреевич.

Роскошный ужин и целая батарея бутылок ожидали гостей на блестяще освещенной и даже иллюминированной даче.

Начался кутеж продолжавшийся почти до утра. Уже забрезжил восток, когда сели пить кофе с ликерами.

Андрей Андреевич совсем, точно мучимый каким предчувствием, не желавший ехать, был на стороже и пил очень мало.

Хватов и остальные собутыльники с сожалением посматривали на Савина, думая, что он надеялся, что значительно напившийся супруг заснет слишком крепко.

Николай Герасимович загадочно улыбался.

Незаметно он навел разговор на вопрос, кто сколько может пройти пешком, не отдыхая.

– До Петербурга не дойти... – кинул он.

– Вот пустяки... Да я хаживал у себя в деревне за двадцать верст на станцию и обратно, так, шутя, в виде прогулки... – прихвастнул Андрей Андреевич.

Этого только и ждал Савин, ранее слышавший, что Беловодов считает себя отличным ходоком.

– Ну, что вы, батенька, хвастаете... В Петербург пешком, не отдыхая, не дойдете.

– Еще как дойду.

- Пари...
- Что держать пари, все равно проиграете...
- Пари... на триста рублей... Руку... Разнимайте...
- Да... что вы...
- Ага, на попятный...
- Извольте... держу...

Хватов разнял.

Савин вручил триста рублей Симочке, как второй посреднице этого пари.

С рассветом «муж-пешеход» вышел в сопровождении князя Карнаухова, взявшегося проводить его верхом и следить, чтобы он не позволял себе отдыха.

– А как ты, Симочка? – с тревогой осведомился муж.

– Обо мне не беспокойся, я с Марьей Сергеевной... – указала она на одну из подруг-певиц, довольно солидного возраста, которую брали только для счета, за веселый и покладистый нрав и умелое содействие в амурных делах.

– А-а... – сказал Андрей Андреевич и удалился зарабатывать триста рублей.

Проводив Беловодова и князя, остальная компания улеглась вздремнуть, где кому пришлось.

Симочка легла в мезонине, но долго не могла заснуть. Она очень беспокоилась о муже. Ее, как мог, утешал Николай Герасимович.

По возвращении часам к двум дня в Петербург, Савин узнал, что Андрей Андреевич выиграл пари. Он не пожалел проигранных денег.

XI

Первая любовь

Связь Савина с Симочкой Беловодовой была мимолетной.

Как пошаливший ребенок бежит и прячется в темный угол, почти с паническим страхом смотря на запрещенный предмет, с которым только что играл, так и этот взрослый ребенок Симочка стала избегать Николая Герасимовича.

Ничего не подозревавший муж казался ей всезнающим и лишь по неизвестным ей сообщениям откладывающим строгое взыскание.

Подруги подтрунивали над нею втихомолку; она дрожала.

– Тише, милые, тише, – неровен час, услышит...

– Кто? Савин?

– Тише... муж...

– Эка невидаль... Пусть себе слышит на здоровье... Его самого вчера видели, с Антуанеткой ехал...

– Он по делу...

– О, святая простота, по делу... Знаем мы, какие дела могут быть с Антуанеткой... Дура... Строй рога, Савин молод, красив... не такой чумазый как твой... – настаивали подруги...

– Боюсь... милые, боюсь...

– Кого?

– Андрея Андреевича...

– Да что же он сделает?

– Убьет...

– Дура... Ведь ты его содержишь, а не он, так уж и подавно молчать должен, все жены молчат, а он у тебя как бы вроде жены.

– Убьет... Вы его не знаете... Он страшный...

Подруги отступились.

– Дура! – единогласно решили они.

Отступился и Николай Герасимович, преподнеся Симочке в роскошном букете дорогой браслет.

Он, впрочем, кажется менее хлопотал о продолжении связи, чем театральные подруги Беловодовой.

Симочка не принадлежала к тем женщинам, обладание которыми усиливает обаяние. Напротив, увлекающаяся и страстная, она после первых же объятий не оставляла ничего желать – в ней не было той тайны некоторых женских натур – отталкивающего электрического тока, усиливающего притяжение.

Она была вся на ладошке, простая, безыскусная – таких женщин приятно иметь сестрами, но не любовницами.

Быть может, Андрей Андреевич знал это свойство своей жены и прямо с коммерческой расчетливостью не допускал, пагубной для ее обаяния, близости к ней поклонников.

Издали она казалась соблазнительной, ее глаза сулили неземной рай, но увя, глаза являлись несомненно зеркалом ее души, а не тела.

Завсегдатаи же театра Берга едва ли искали души.

Не искал души в женщине и Николай Герасимович, а может быть, и не подозревал ее в тех «общедоступных существах женского рода», с которыми почти исключительно сводила его судьба.

Словом, он отступился без сожаления от робкой Симочки, как огня боявшейся своего мужа.

К этому времени, кроме того, в Хватовской компании произошел раскол: граф Жорж с Катькой-Чижик отделились от нее, всецело занявшись делом – антрепризой театра.

Занятие же каким-нибудь делом и звание члена «штаб-квартирного кружка» было своего рода нетерпимой в кружке совместностью.

Театр Берга был почти позабыт: жрицы этой своеобразной Мельпомены без всякого ущерба заменены французскими кокотками, после франко-германской войны особенно в большом количестве прибывшими в Россию, в это, по выражению поэта, «наивное царство», где, по доходившим до них слухам, было легко обирать наше будто богатое барство.

Дни летели за днями, или лучше сказать, ночи летели за ночами, так как дни, наперекор общему правилу, в Хватовской компании были назначены для краткого отдохновения, ночи же посвящались всецело делу, то есть оргиям.

Все так восхитившие Савина в рассказе Маслова «кунштюки» Хватовской компании были проделаны и при его благосклонном, как выражаются театральные афиши, участии.

Но всему бывает предел. Даже долготерпению власть имущих...

Проделки, вроде описанных нами, Хватовской компании участились и стали положительно угрожать спокойствию мирных обывателей.

По городу стали ходить положительно целые легенды, конечно, не без прикрас, о похождениях завсегдатаев пресловутой «штаб-квартиры».

На всю «теплую компанию» и участвовавшего в ней в качестве деятельного члена Николая Герасимовича Савина городское начальство серьезно обратило внимание.

Нужно было только несколько капель, которые переполнили бы чашу.

Наступил апрель месяц, первый весенний месяц года, в описываемый нами год, отличавшийся почти майской погодой.

Рассветало. К Строгановскому мосту неслась коляска, запряженная четверкой лихих лошадей.

В экипаже, почти в лежачем состоянии, находились Савин и его товарищ юнкер Муслинов.

По раскрасневшимся лицам и посоловевшим, еле открывавшимся глазам, видно было, что оба они недаром провели ночь на островах.

Въехав на мост, кучер придержал лошадей и поехал, согласно полицейским правилам, шагом.

Вследствие этого с четверкой почти бок о бок поравнялась извозчичья пролетка с двумя неизвестными франтами, тоже, видимо, возвращавшимися с островов в сильных градусах.

Увидев коляску с дремавшими офицером и юнкером, один из франтов толкнул другого в бок.

– Смотри, смотри, вот это и есть те самые пустозвоны, выкидывающие по Петербургу штуки, не дающие покоя добрым людям. Надо бы их хорошенько проучить.

Франт при этом указал тросточкой по направлению коляски. Как ни был пьян Николай Герасимович, но это замечание франта достигло его чуткого уха. Он весь вздрогнул и вскочил.

– Стой! – крикнул он кучеру.

Коляска остановилась.

Савин выскочил из нее в сопровождении ничего не слышавшего, только что пробужденного от сладкой дремоты Муслинова.

– Остановись! – крикнул он извозчику, везшему франтов. Тот послушался приказа офицера.

– Это вы про меня и моих, товарищей осмелились сейчас так выражаться? – подошел Николай Герасимович к сидевшим, как пригвожденным от страха, франтам.

– Караул! Караул!

– Городовой! Городовой!

Эти возгласы последовали вместо ответа.

– Не кричите, отвечайте! – крикнул Савин.

– Оставьте нас, поезжайте вашей дорогой... Мы не хотим иметь дело со скандалистами... Знаем мы вас... Караул! Городовой!

– Ну, Муслинов, – вне себя закричал Николай Герасимович, – надо проучить этих негодяев... Бить их не стоит... Бросим их в воду, пусть они охладятся... и впредь не будут учить и говорить дерзости.

С пьяных глаз пришедшая Савину идея нашла быструю поддержку в товарище.

Схватили они, долго не церемонясь, каждый по штатскому, да и бросили с моста в Неву, благо Строгановский мост невысок.

– Город... Кара...

Эти неожиданные возгласы были прерваны всплеском воды. Собравшийся уже народ и явившиеся городовые не успели не только остановить бросающих, но даже ахнуть. Произошел переполох.

Народ и полиция бросились спасать барахтавшихся в воде франтов и вскоре они были, как оказалось потом, благополучно вытащены, отделавшись холодным купаньем, не повредившим их здоровью.

Герои наши во время переполоха спокойно сели в коляску и уехали.

Но скандал все же вышел грандиозный. Савину и Муслинову пришлось ехать объясняться с Гофтреппе и со своим непосредственным начальником.

Их обоих посадили под строгий арест, но, приняв во внимание сильное опьянение и отсутствие жалобы со стороны потерпевших, ограничились этой дисциплинарной мерой.

– Я вас помню и знаю... – зловеще сказал Николаю Герасимовичу Гофтреппе.

Савин вскоре, впрочем, позабыл эти слова. Он вспомнил их потом.

Скандал этот и арест, однако, несколько остепенили его, он поотстал от компании Хватова, снова стал часто видаться с Михаилом Дмитриевичем Масловым, который наконец посвятил его в тайну своего сердца.

Николай Герасимович не ошибся – Маслов, действительно, любил.

Предметом этой любви была молоденькая кордебалетная танцовщица, только что выпущенная из школы, Анна Александровна Горская.

Темная шатенка, с глубокими вдумчивыми глазами, она производила впечатление не столько хорошенькой женщины, сколько хорошего человека, в смысле безграничной симпатии, возбуждаемой ею с первой же встречи.

Она жила со старушкой матерью на Торговой улице, в небольшой уютенькой квартирке и, конечно, в добавление к своему скудному балетному жалованью, пользовалась помощью Михаила Дмитриевича.

Помощь эта, однако, была очень скромная.

Это происходило не потому, что Маслов не был в состоянии давать больше, но сама Анна Александровна больше не желала этого.

– Я не содержанка, чтобы разорять тебя... Я не хотела бы брать от тебя ничего, но меня заставляет пользоваться твоей помощью только крайняя необходимость... Я люблю тебя не за деньги... – говорила она ему.

Он сначала протестовал, а затем подчинился решительным доводам своей Анны, как он называл ее, и только иногда успевал всучить Фионии Матвеевне – так звали мать Ани – лишнюю сотню рублей.

Та копила эти сотни тайком от дочери, откладывая их на черный день.

Анна Александровна, действительно, серьезно, не «по-балетному», любила Михаила Дмитриевича и последний платил ей тоже искренним чувством.

Он не раз предлагал ей жениться, но благоразумная девушка отклоняла решительно это намерение.

– Это только может испортить твою карьеру, не внеся ничего лучшего в наши отношения... Теперь мы оба служим... а часы отдохновения проводим вместе, без всяких семейных дразг и недомолвок.

Маслов ввел в квартирку Анны Александровны Савина и в этой-то квартирке последний встретился с девушкой, которой представлено было сыграть роковую роль в его жизни.

Эта девушка была Маргарита Максимилиановна Гранпа.

Ее внешность поразительной красоты уже известна нашим читателям.

Дочь известной русской красавицы и очень красивого француза Максимилиана Гранпа, Маргарита соединила в себе все прелести обоих и, как бывает почти всегда при смешении рас, выросла лучше родителей.

Она незадолго перед этим дебютировала в балете «Голубая героиня».

Ей едва минуло шестнадцать лет.

Николай Герасимович после первых же встреч с Маргаритой У Горской понял, что пустота жизни его наполняется первой любовью к Маргарите Гранпа.

XII

Похищение

Прошло около двух месяцев.

Был теплый вечер конца июня.

На террасе одной из изящных дач Ораниенбаума в кресле-качалке сидела Маргарита Максимилиановна Гранпа.

Тот, кто видел ее только на театральных подмостках, не узнал бы грациозную, всегда оживленную танцовщицу в этой поразительно хорошенькой, но бледной и грустной девушке с заплаканными глазами.

Скромное платье из легкой голубой бумажной материи облегалo ее чудный полуразвившийся стан. В небрежно сколотой косе воткнута была белая чайная роза, а дивные ножки были обуты в туфельки желтой кожи.

Она смотрела, как мы уже сказали, грустно, почти печально, своими глазами цвета польского неба.

Казалось, сумерки природы, затуманившие небо, отражались и в этих глазах.

Порой на ее выточенном точно из слоновой кости лбу появлялись чуть заметные складочки, а красиво и тонко очерченные губки нервно передергивались.

Маргарита Максимилиановна переживала происшествие сегодняшнего дня – столкновение с отцом и «тетей», как она называла женщину, ставшую на место ее матери.

«Без всякого права!» – обыкновенно мелькало в ее уме, когда она об этом думала.

«Нет, я уеду, уеду... Пусть он увезет меня... Ведь я поеду с ним к бабушке... Здесь я жить не могу...»

В это время из сада на террасу легкой поступью поднялся мальчик лет четырнадцати, одетый в суровую парусиновую пару.

Брюнет, с выразительными чертами лица и лоснящимися кудрями, он положительно мог назваться красавцем.

– Марго, ты опять плакала! – грудным голосом воскликнул он.

– Это ты, Макс... – остановила на нем взгляд Маргарита Максимилиановна и деланно улыбнулась.

– Не притворяйся, ты плакала, плакала... – говорил мальчик. – Она тебя опять обидела... О, как я ненавижу ее...

– Что ты, что ты, Макс... Она тебе мать...

При последнем слове глаза молодой девушки наполнились слезами.

– Что же из этого, а ты мне сестра по отцу... и я люблю тебя... больше ее...

Мальчик опустил на стоявшую около качалки скамеечку и вперил в Маргариту Максимилиановну почти страстный взгляд.

– Не говори этого, Макс, и не гляди так, ты знаешь, я этого не люблю...

Мальчик опустил глаза.

– Опять из-за Савина... – после некоторой паузы начал он.

– А то из-за чего же... Но Николай Герасимович только предлог, она рада есть меня из-за каждого пустяка, из-за всякого куса хлеба... Я не могу... Я убегу, Макс...

– И я с тобой...

– Нет, Макс, ты оставайся, я убегу к бабушке...

– К бабушке... С ним... – в глазах мальчика блеснул ревнивый огонек.

– Он только проводит меня... Он честный, Макс, он хороший...

– Все они честные и хорошие... – проворчал мальчик.

– Он любит меня...

– Все они любят...
– Он сделал мне предложение...
– Ты говорила об этом отцу... и ей?... – последнее слово он произнес, как будто не найдя другого названия.
– Говорила.
– Ну и что же?..
– Она настроила отца... Он за Колесина...
– За эту накрашенную куклу... Он ведь шулер, говорят... – презрительно уронил Максимилиан Гранпа.
– Но он очень богат...
– Савин тоже богат... Я люблю тебя, но лучше уступлю тебя Савину, нежели тому...
– Савин хочет жениться...
– Тем лучше...
– Я и сама так думала... а она говорит... брак вздор... и отец туда же... Такой красавице мало одного состояния мужа, ей надо несколько состояний... Она просто хочет погубить меня...

Маргарита Максимилиановна замолчала.

– О, как я ненавижу ее!.. – вырвалось из груди мальчика почти диким криком.

– Макс, не говори так...

Она протянула ему руку.

Он прижался к этой руке долгим поцелуем.

Что-то горячее вдруг обожгло ее руку.

Мальчик плакал.

Расскажем, чтобы объяснить эту сцену, в коротких словах всю неприглядную обстановку, в которой выросла Маргарита Гранпа.

Ей не было и двух лет, когда ее мать, русская красавица из хорошей фамилии, увлекшаяся французом-танцором, отцом Маргариты, и вышедшая за него замуж без дозволения родителей, уехала от него с другим избранником сердца, оставив дочь на руках отца.

Не прошло и года после этого бегства, как Максимилиан Гранпа сошелся с танцовщицей-полькой, от которой у него родился сын Максимилиан и дочь Клавдия.

Любовь к новой подруге жизни, конечно, оттеснила на второй план любовь к первой дочери, явившейся, кроме того, живым напоминанием измены его законной жены.

По седьмому году ее отдали в театральную школу.

Быть может, она была бы и совершенно забыта отцом и женщиной, заступившей место ее матери, если бы ее выдающаяся красота и необычайные способности по танцам не выдвинули ее сперва в школе, а затем, незадолго до момента нашего рассказа, и на сцене.

Максимилиан Эрнестович Гранпа стал гордиться ею не только как дочерью, но и как своей ученицей.

Горечь измены жены уже стушеввалась в его душе, и он искренно полюбил «Марго», как звали ее дома и в школе.

Марина Владиславовна, так звали танцовщицу, с которой Максимилиан Эрнестович сошелся после бегства жены, глубоко возненавидела девочку, с которой ее «Макс», как звала она своего сожителя, носился, по ее выражению, как дурак с писанной торбой.

Она даже предсказывала, что из нее ничего не выйдет, даже порядочной танцовщицы.

Когда же это предсказание не сбылось, когда весь Петербург в один голос заговорил о вновь появившейся звезде балета, Марина Владиславовна, скрепя сердце, должна была признать совершившийся факт.

Затаив свою ненависть, продолжавшуюся, впрочем, проявляться в мелочах, в попреках из-за куска хлеба, в сценах Макс за траты на дочь, она задумала извлечь из красоты и таланта своей падчерицы как можно более выгоды для семьи.

Ухаживание влюбленного Савина, конечно, не отвечало ее планам – она была за Колесина, который не щадил средств, чтобы снискать себе расположение Марины Владиславовны.

Николай Герасимович полюбил действительно искренно.

Любовь всегда влияет благотворно на душу человека.

Из буйного скандалиста и необузданного кутилы, она сделала из него тихого вздыхателя, лежащего у ног красавицы.

Каждый день он был у Маргариты Гранпа, жившей тоже по Торговой улице, недалеко от дома, где жила Горская, возил ей букеты и конфеты.

Марина Владиславовна, а под ее влиянием и Максимилиан Эрнестович косились на Николая Герасимовича, находившегося притом в финансовом отношении, в это время, далеко не в авантаже.

Чувства влюбленного не похожи на чувства людей, находящихся в нормальном состоянии, – они все видят в розовом цвете, надежды, их на блаженство бывает без границ.

Савин стал мечтать о вещах, которые до того времени никогда не приходили ему в голову.

Оказалось, что в нем таилась романтическая жилка, чего он до сих пор не знал сам, и он был способен к чистой, пламенной и даже платонической любви.

Такою именно любовью сгорал Николай Герасимович к Маргарите Гранпа.

Мы знаем из разговора с ее братом, что он сделал ей предложение, но не слышали от нее, чтобы она отказала ему.

Она действительно и не отказала.

Замужество улыбалось ей.

Нежный цветок, выросший на «театральном болоте», всосав в себя случайно лишь чистую ключевую подземную воду, тина и грязь не коснулись его.

Зная рано все житейские отношения, она с отвращением отталкивала от себя мысль сделаться такою, какими были ее старшие подруги и даже уже некоторые сверстницы.

Она видела, однако, что ее толкают именно на эту дорогу. Она, как мы слышали, говорила, что ее хотят «погубить», когда на балетном языке это называлось «пристроиться».

Ухаживания Колесина вели к этой гибели.

Ухаживания Савина вели, как она думала, к браку.

Она согласилась на план Николая Герасимовича спасти ее от когтей Колесина, скрыв на время у бабушки ее, со стороны матери, старушки Нины Александровны Бекетовой.

Для приведения этого проекта в исполнение Савин переехал в Ораниенбаум, поселился в гостинице, куда понемногу были с помощью подкупленной горничной перенесены вещи Маргариты Максимилиановны, уложены в приготовленный сундук и отправлены в Петербург.

Тот самый вечер, или лучше сказать следовавшая за ним ночь, в который мы застали молодую девушку на террасе дачи в Ораниенбауме, был назначен для бегства из родительского дома.

Поговорив еще несколько времени со своим братом Максимилианом, Маргарита Гранпа ушла в свою комнату и стала ждать.

Вечер тянулся томительно долго. Наконец он сменился наставшей июньской ночью.

На даче все заснуло.

Маргарита Максимилиановна стала чутко прислушиваться к окружавшей ее тишине. Вдруг послышались топот лошадиных копыт и стук колес.

Молодая девушка надела шляпку, накинула на себя летнее манто и на цыпочках пробралась через залу и террасу в сад.

Миновав его бегом, она очутилась у калитки, около которой стояла карета, запряженная четверкой лошадей.

– Марго, ты?.. – послышался из кареты голос.

– Я... – чуть слышно проговорила она.

Дверцы кареты отворились, и Маргарита Максимилиановна быстро юркнула во внутрь и очутилась возле Николая Герасимовича. Кучер, не дожидаясь приказа, ударил по лошадям. Они помчались.

Нина Александровна была подготовлена Николаем Герасимовичем к встрече своей любимой внучки. Он сумел понравиться старушке, и она всецело была на его стороне.

– Женись, батюшка, женись... и вези в деревню, хозяйкой будет, хорошей женщиной, а то «танцорка», прости господи, беса тешить... – говорила старушка.

Бабушка Бекетова жила в маленьком собственном домике на Петербургской стороне.

Туда и примчал свою ненаглядную Марго влюбленный без ума Савин.

Нина Александровна, не ложившаяся спать, встретила внучку и заключила ее в свои объятия.

– Радость ты моя, Маргариточка... А ты, молодчик, – обратилась она к Савину, вошедшему в зал вместе с молодой девушкой, – убирайся восвояси... завтра день будет и нагладишься, нечего по ночам бобы разводить... спать пора... Иди, иди.

Николаю Герасимовичу ничего более не оставалось, как повиноваться.

XIII

В Серединском

Широко, привольно и живописно раскинулось село Серединское – родовое имение Савиных.

Узкая и неглубокая, но светлая, как кристалл, бегущая по песчаному руслу, речка блестящей лентой окружала сад, раскинутый на горе, на вершине которой стоял господский дом со службами, доминируя над окрестностью.

Дом был старинный, прочной постройки, но, видимо, заботливый ремонт не допускал на него печати времени, каковая печать, вместе с печатью судебного пристава лежала в описываемое нами время на большинстве помещичьих усадеб.

Выходя фасадом и огромной террасой к реке, дом весело и приветливо глядел своими зеркальными стеклами на темно-сером фоне общей окраски дома.

С антресоль, составляющих непрременную принадлежность каждого старого дворянского дома, и в особенности с высокого бельведера, с затейливыми окнами из разноцветных стекол, открывался чудный вид на окружавшее почти десятиверстное пространство.

С другой стороны, то есть со стороны прилегавшего в полутора верст от усадьбы почтового шоссе, к дому вела прекрасно убитая щебнем дорога, обсаженная деревьями и представлявшая чудную прямую аллею, оканчивающуюся воротами, ведущими во двор к громадному стеклянному подъезду.

Дорога к дому все время довольно круто шла в гору.

Все усадебное место, кроме сада, разбитого террасой по спуску к реке, находилось на плоскогории, на скате которого находились барские поля, оканчивающиеся, с одной стороны, далеко тянувшимся барским лесом, а с другой, примыкавшие к самому селу, раскинувшись уже на отлогом берегу той же реки.

Село было большое и красивое. Прочные, просторные избы, почти сплошь крытые тесом, а некоторые даже железом, указывали на благосостояние обывателей.

Ни одно развалившееся или почерневшее от времени строение не корбило глаз.

Широкая улица села содержалась в чистоте и на ней выделялись вычурною постройкою здания волостного правления, школы и трактира.

Каменный храм стоял в конце села, среди огороженного каменною оградой кладбища.

За околицей тянулись крестьянские поля и пастбища, а вправо – крестьянский лесок.

Стояла половина сентября 1875 года. Было около девяти часов вечера.

В угловой гостиной помещичьего дома, за круглым преддиванным столом, на котором горела высокая, старинная, видимо, переделанная из олеиновой в керосиновую, лампа под уже новейшим огромным пунцовым абажуром, сидели на диване Фанни Михайловна Савина и наискосок от нее молодая девушка лет восемнадцати, с оригинальным смуглым лицом цыганского типа.

Фанни Михайловне уже перевалило за пятьдесят, но красивое лицо ее сохраняло такую свежесть, что лишь заметные морщинки около юношески-светлых глаз и около несколько поблекших губ выдавали прошедшее над нею сокрушающее время. Седины в темно-каштановых волосах, под черной кружевной наколкой, заметно не было. Одета она была в домашнее, темно-коричневое платье, а на плечах был накинут ангорский платок.

Фанни Михайловна вышивала на клеенке какое-то затейливое английское шитье, внимательно слушая читавшую ей молодую девушку.

Девушка читала ровным, певучим голосом поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Зиновия Николаевна Богданова, или Зина, была приемным семейством Савиных.

Лет шестнадцать тому назад, поздним зимним вечером, в их московском доме раздался сильный, резкий звонок.

Выбежавшая на звонок прислуга увидела у подъезда стоящую на верхней ступеньке маленькую девочку, лет двух, в рваной кацавейке и платке, с висевшим у нее на шее образом Божией Матери, в металлической ризе.

Больше ни на подъезде, ни на улице никого не было.

О странной поздней посетительнице доложили Фанни Михайловне, которая приказала ввести девочку к ней в будуар, раскутала ее, увидела хорошенькую брюнетку с резкими и тонкими чертами лица и большими черными глазами.

Из-за ее пазухи выпали две бумажки.

Одна из них оказалась метрической выпиской из церкви святого Ермолая, что на Садовой, о рождении два года и два месяца тому назад, у крестьянской девицы Вассы Андреевой незаконной дочери Зиновии, а другая написанной полуграмотно запиской:

«Приютите сироту, по отцу зовут Николаева».

Фанни Михайловна, с разрешения Герасима Сергеевича, исполнила просьбу неизвестной матери, хотя об этом пришлось довести до сведения местной полиции, оставившей девочку на попечение дворянина Савина и отобравшей документы, выписку и записку для справок.

Справки наводили довольно долго и не достигли никаких результатов. Священник церкви Ермолая припомнил, что крестил года два тому назад девочку у полевой цыганки, предъявившей ему паспорт, из которого и выписано было звание матери.

По наведении справок в волостном правлении оказалось, что крестьянская девица Васса Андреева находится в безвестной отлучке.

На этом дознание года через два было прекращено и бумаги возвращены Фанни Михайловне.

Девочка тем временем обжилась в доме, поставленном, по желанию своей приемной матери, на барскую ногу.

Девочки скорее мальчиков свыкаются с обстановкой и даже отражают ее на себе.

Недаром же говорят, что все женщины рождаются аристократками, чего нельзя сказать о мужчинах, на которых родовитость накладывает особую печать – аристократа нельзя не узнать в грязных лохмотьях в ночлежном доме, тогда как там же бывшую княжну трудно отличить от прачки, а между тем, с другой стороны, сколько прачек делались настоящими княгинями, не по имени только, но и по манере держать себя.

Зина тоже стала совсем барышней.

Она росла. Сперва ей наняли бонну, а затем гувернантку и учителя, и только когда ей минуло двенадцать лет, Фанни Михайловна последовала, в виду ее происхождения, советам мужа и отдала ее в гимназию.

Девочку приписали к московскому мещанскому обществу и дали фамилию Богдановой.

Она поступила прямо в третий класс и в описываемый нами год окончила курс первой ученицей, с золотой медалью.

Зина читала:

От женской волюшки
Потеряны ключи!
Какою рыбой сглотнута,
В каких морях та рыба
Гуляет... – Бог забыл...

В это самое время в дверях гостиной появился из своего кабинета, где он сидел за разбором только что привезенной почты, Герасим Сергеевич.

Время его сильно изменило, и хотя он был по-прежнему строен, так как некоторая полнота известных лет скрадывалась высоким ростом, но совершенно седой. Белые как лунь волосы были на голове низко подстрижены, по-английски. Бороды он не носил, а совершенно белые усы с длинными подусниками придавали ему сходство с известным портретом Тараса Бульбы.

Обыкновенно ясные и веселые темно-карие глаза, под несколько нависшими седыми бровями, были теперь мрачны.

Лицо его было бледно и расстроено и в самой манере входа в гостиную было видно раздражение.

Одет он был в драповый полухалат с шелковыми шнурами и шитых шелковых туфлях, а в руке держал длинную трубку с черешневым чубуком.

Это было тоже необычно.

По правилам дома, в гостиной, зале и столовой не курили, и это правило никогда не нарушал и сам хозяин.

Должно было случиться нечто необычайное, чтобы всегда корректный и строгий прежде всего, и кажется только исключительно, к самому себе, Герасим Сергеевич забыл оставить трубку в кабинете, аккуратно поставив ее на стоявшую там подставку с десятками этих орудий услады досуга наших предков.

– Что с тобой, Герасим Сергеевич? – удивленно подняла на него от работы глаза Фанни Михайловна, от которой не ускользнула ни малейшая подробность, указывающая, что с ее мужем что-нибудь случилось необычайное.

Зина прекратила чтение и тоже глядела на «дядю», как она звала Герасима Сергеевича, беспокойно-вопросительно.

– Что со мной, что со мной!.. – развел старик Савин руками, в одной из которых был чубук, а в другой раскрытое письмо.

– Виноват! – вдруг произнес он, заметив чубук, и быстро удалился из гостиной.

Обе женщины молчали и сидели, с недоумением глядя друг на друга.

Через минуту Герасим Сергеевич вернулся в гостиную без трубки, но с письмом в руке и подойдя к преддиванному столу, грузно опустился на кресло, противоположное тому, на котором сидела Зиновия Николаевна.

– Уф!.. – вздохнул он.

– Что такое? – с тревогой в голосе снова спросила Фанни Михайловна.

– А вот, что такое, полюбуйся, что проделывает твой любимец, кумир, сынок ненаглядный...

– Коля! – как-то простонала Фанни Михайловна.

– Ну, да, Коля, Колечка... Свет очей твоих... Прочти, полюбуйся.

Герасим Сергеевич почти перебрал письмо жене, которое он держал в руках, встал и нервной походкой стал ходить из угла в угол гостиной.

Фанни Михайловна жадно впиалась в строки письма, писанного дорогой ей рукой любимого сына.

Наступило молчание, прерываемое лишь мягкими шагами Герасима Сергеевича.

– Бедный, бедный... – вырвалось, видимо, прямо из сердца Фанни Михайловны.

Герасим Сергеевич, находившийся в противоположном углу гостиной, быстро обернулся.

– Бедный, ты говоришь, бедный... Полтора ста тысяч долга за его юнкерство в Петербурге я заплатил... Отправил в Варшаву, думал, что остепенится, радовался, что наконец он произведен в корнеты, и вдруг – опять столько же долгу, и... отставка... Корнет в отставке!.. Ха-ха-ха!

– Но ведь, Герасим Сергеевич, и ты...

– Что я, я, матушка, вышел в отставку для того, чтобы заниматься делом... Я служил, никогда не зная, что такое долг. У меня была наклонность к хозяйству...

– А может и Коля... – прервала его Фанни Михайловна.

– А может и Коля... – передразнил ее муж. – Ты все прочла?

– Нет...

– Так читай дальше... Увидишь, какое он хочет устроить хозяйство... Чем хочет порадовать родителей...

Фанни Михайловна снова углубилась в чтение письма, а Герасим Сергеевич снова продолжал свою прогулку из угла в угол.

– Бедный, бедный... – снова с вздохом произнесла Фанни Михайловна, складывая письмо, но не выпуская его из своих рук.

– Опять бедный... – восторженно воскликнул Герасим Сергеевич. – Прокутить в три года триста тысяч, чтобы корнетом в отставке жениться на танцорке!..

– Но ведь он ее любит... – встала Фанни Михайловна.

– Любит, любит!.. Я выбью из него эту любовь!.. Вот приедет, я с ним поговорю.

– Герасим Сергеевич... Он разоряет не меня. Мне скоро в могилу, – с собой не унесу, – но он разоряет братьев... Я заплачу, но я вычту из его части и отделию его... А об танцорке ему надо будет позабыть. Пусть лучше займется делом – хозяйством...

– Только ты, Герасим Сергеевич, не очень круто... лучше я с ним переговорю.

– И дашь свое благословение?..

– Нет, нет, если ты этого не хочешь...

– А ты бы хотела?..

– А может она хорошая девушка, по письму... Ведь бывает...

– По письму!.. – воскликнул Герасим Сергеевич и, махнув на жену безнадежно рукою, ушел к себе в кабинет.

XIV

Первое преступление

Вернемся за неделю назад в Петербург.

Николай Герасимович только что закончил длинное письмо отцу, то самое, которое послужило предметом беседы между Герасимом Сергеевичем и Фанни Михайловной, описанной в предыдущей главе.

Савин перечитал письмо, бережно сложил его, вложил в конверт и заклеил последний.

Проведя двумя пальцами по краям конверта, он стал старательно четко писать адрес, сильно наклонясь над письменным столом, уставленным портретами в рамках разных фасонов и разных величин.

Тут же стоял атласный балетный башмачок.

На всех этих портретах было, впрочем, одно и то же изображение Маргариты Гранпа в разных видах и костюмах, балетных и характерных.

Башмачок, конечно, принадлежал тоже ей.

На Николая Герасимовича из рамок глядели десятки образов любимой им девушки и распаляли и без того напряженное воображение.

Под впечатлением этих образов и написал он письмо отцу, и только чуткое женское сердце матери отгадало настроение сына за сотни верст, и Фанни Михайловна, как, конечно, не забыл читатель, воскликнула:

– Он любит ее!

Действительно, часть письма, посвященная описанию достоинств его невесты – как он уже называл Марго – дышала искренним, неподдельным чувством.

Николай Герасимович кончил писание адреса и встал из-за письменного стола.

Пройдясь несколько раз по задней комнате отделения, занимаемого им в Европейской гостинице, комнате, служившей ему кабинетом-спальней и, как он говорил, храмом, где он молился своему божеству, то есть Маргарите Гранпа, и куда он допускал только одного Маслова да несколько своих друзей-балетоманов, Николай Герасимович позвонил.

Явившемуся слуге он приказал отправить письмо на почту и взглянул на часы.

Было начало второго.

– Завтрак в два, ты знаешь... – кивнул он уходящему с письмом слуге.

– Так точно-с... Не извольте беспокоиться... – почтительно остановившись, ответил тот.

После ухода лакея Николай Герасимович выдвинул ящик письменного стола, взял оттуда большой сверток и бережно вынул из него кабинетный портрет.

Это был новый, только что полученный им от Бергамаско портрет его ненаглядной Гранпа.

Маргарита была изображена качающейся на цветочных качелях в легкой воздушной, не прикрывающей колен юбочке, в лифе, прикрепленном на плечах маленькими бантиками, словом в костюме не скрывающем всех чудных очертаний ее тела. Очаровательное улыбающееся личико молоденькой танцовщицы шаловливо глядело на него.

Он залюбовался этим портретом и не слышал, как в спальню кабинета вошел Михаил Дмитриевич Маслов.

Савин очнулся только тогда, когда тот положил ему руку на плечо.

– Витаешь в мечтах и эмпириях... Молишься своему кумиру, забыл все и всех и даже может и то, что обещал сегодня накормить завтраком своих друзей.

– Нет, ты посмотри, как она хороша... – вместо ответа сказал Николай Герасимович.

– Кто же в этом сомневается... С этим согласен весь Петербург.

– Весь Петербург... – злобно проговорил Савин. – Если хочешь, брат, знать, то меня иногда приводит в бешенство именно то, что «весь Петербург» может соглашаться с этим... И зачем снята она в этом костюме.

Николай Герасимович быстро сунул портрет в конверт, почти швырнул его в стол и запер на ключ. Маслов глядел на него в недоумении.

– Ого!.. Значит, если ты бы на самом деле женился на Гранпа, то сцена должна будет сказать ей «прощай»?

– Конечно же... Тысячу раз права ее бабушка, она будет хорошей женой, хозяйкой, а не танцоркой, тешущей беса.

– Это, кажется, первый случай в твоей жизни, что ты соглашаешься с бабушками, – улыбнулся Михаил Дмитриевич.

Савин пропустил это замечание мимо ушей и продолжал:

– Неужели, Маслов, ты не понимаешь той муки, которую должен испытывать всякий любящий человек, видя, как предмет его любви выставляется напоказ толпы, которая ценит ее по статьям, как красивую лошадь... Я понимаю жену – актрису, певицу, но жены – танцовщицы я не понимаю.

– Почему же?

– Как почему... Да уж потому, что самый костюм балетной танцовщицы посвящает других в такие красоты женщины, любоваться которыми должно составлять прерогативу только близкого ей человека, мужа... Да неужели, повторяю, ты, Маслов, никогда не ощущал горького чувства, видя на сцене Горскую...

– Нет, я не ощущал... Может быть, потому, что Анна Александровна танцует в кордебалете, в массе, а, следовательно, устремленные взоры толпы не сосредоточены на ней одной, хотя с тобой я почти согласен, мне Аня доставила бы большее удовольствие, если бы бросила сцену, но она об этом и слышать не хочет.

– Разве она так любит свое искусство?..

– Нет, не то, какое там искусство у кордебалета, это просто каторжный, плохо оплачиваемый труд, но Аня отказывается оставить сцену из принципа, – она училась для этой цели, и наконец, по ее мнению, ее заработок дает ей самостоятельность... Смешная... а между тем ей нельзя возразить.

– Я очень рад, Маслов, – восторженно воскликнул Николай Герасимович, – что ты согласен со мной... Я за последнее время терплю такую нравственную муку и в балете, и даже здесь, среди этих портретов, на которых она снята в позах одна соблазнительнее другой... так мне хочется крикнуть этому тысячеглазому зверю, называемому толпой: «Не смейте смотреть на нее вашими плотоядными глазами... Она моя...» Здесь меня мучит, что всякий за рубль, за полтинник может купить себе такой же портрет, и даже все, и любоваться ими, но не так, как я, а с более гадким чувством... Меня мучает это, нервная дрожь охватывает все мои члены... Ум мутится...

– Боже, я не ожидал от тебя такого идеализма. Успокойся... Я в самом деле начинаю подозревать, что ты в этих муках позабыл, что пригласил меня и других завтракать к двум часам.

Михаил Дмитриевич вынул часы.

– Теперь без четверти.

– Завтрак заказан, не беспокойся. Я думаю подчас и о земном... – улыбнулся на самом деле успокоенный Савин. – Стол уже, впрочем, накрыт.

– Что стол, а где же другие? Ты кого звал?

– Кулдашева и Григорова...

– А...

– Да вот, кажется, и они, легки на помине... Кто-то вошел.

Оба приятеля прошли через среднюю комнату, где был действительно прекрасно сервирован стол для завтрака на четыре персоны и вышли в первую комнату, которая соединялась с коридором гостиницы небольшой передней.

В ней оказался какой-то неизвестный им обоим господин, одетый в поношенную черную сюртучную пару.

Высокий брюнет с сильною проседью и с бледным, страдальческим лицом, он производил с первого взгляда впечатление благородного человека, просящего на бедность.

– Здесь живет господин Савин? – с более чем нужной почтительностью обратился он к вышедшим в первую комнату Савину и Маслову.

– К вашим услугам... – ответил первый, выйдя вперед и приглашая жестом незнакомца войти из передней в приемную. – Что вам угодно?

– У меня к вам есть маленькое дело... – следуя приглашению приблизился к нему незнакомец, осторожно ступая по ковру, которым был обит пол приемной. – Моя фамилия Мардарьев, Вадим Григорьевич.

– Мардарьев... – не знаю, не слыхал... прошу садиться.

Николай Герасимович сел в кресло около преддиванного стола и жестом указал гостю на противоположное.

Тот сел.

Маслов, чтобы не мешать, отошел к окну, выходявшему на угол Михайловской и Невского, и стал смотреть на улицу.

– В чем же дело? – спросил Николай Герасимович.

– У меня есть на вас векселек в четыре тысячи рублей, – заискивающим тоном начал Мардарьев.

– У вас... На чье же имя?.. На ваше?..

– Нет-с, на имя Соколова, перешедший ко мне по безоборотному бланку... Вот он...

Вадим Григорьевич вынул тотчас из кармана вексель и подал его Савину.

– На имя Соколова... Ага... – говорил Николай Герасимович, осматривая вексель. – Но позвольте, этот вексель и еще два таких же, всего на сумму двенадцать тысяч рублей, два года тому назад были даны мною господину Соколову для учета... Векселя он взял и сам ко мне не являлся... Я поехал к Гофтреппе, который приказал разыскать его... Оказалось, что этот мошенник векселя мои учел, а сам скрылся... Вот история вашего векселя и двух ему же подобных.

– Это до меня, как до третьего лица, не касается... – мягко заявил Мардарьев. – Пожалуйста, деньги, или я предъявлю его ко взысканию, внесу кормовые и посажу вас под арест...

Николай Герасимович вспыхнул.

– Извините, я не дал себя обкрадывать господину Соколову и его приятелям и не только не заплачу по этому векселю ни копейки, но даже и не возвращу его вам...

– Позвольте, вот это будет тогда настоящий грабеж, – вскочил, вдруг переменяя тон, Мардарьев, – грабеж при свидетелях. Я тотчас крикну караул и позову полицию.

– Кричи и зови... – вне себя от гнева вскочил и Николай Герасимович... – Получай твой мошеннический вексель и убирайся вон...

Савин разорвал в клочки вексель и бросил его в лицо Вадима Григорьевича.

Тот схватил в обе горсти клочки разорванного векселя и быстро опустил их в свои карманы.

– Это вам даром не пройдет, господин Савин... Я познакомлю вас с господином прокурором... господин Маслов, будьте свидетелем.

Михаил Дмитриевич, уже ранее подошедший к концу этой сцены, вытаращил на Мардарьева глаза.

– Разве вы меня знаете?

– Знаю-с... Но никогда не говорю без надобности, кого я знаю...

– Пошел вон! – крикнул все еще вне себя от гнева Николай Герасимович и, схватив Вадима Григорьевича за шиворот, буквально вышвырнул его в коридор.

– Вы меня попомните, будете меня знать... – бормотал Мардарьев, когда Савин тащил его по приемной и передней.

Захлопнув дверь номера, Николай Герасимович вернулся и бросился в кресло.

– Вот негодяй, аппетит испортил... – после некоторой паузы воскликнул он.

В это время в передней появились оба остальных приятеля. Савин позвонил и приказал тотчас явившемуся лакею подавать завтрак.

XV

С повинною

Весть о приезде «барчука» с быстротою молнии облетела не только барскую усадьбу в Серединском, но и самое село.

Своеобразное и почти в описываемое нами время единичное исключительное отношение существовало между селом Серединским и «барским двором», как называли крестьяне усадьбу.

Уже около пятнадцати лет прошло со времени отмены крепостного права, а между тем при появлении проездом в церковь или к соседям барского экипажа на улице села, все оно, от мала до велика, высыпало, несмотря на время года и погоду, на улицу, почтительно кланяясь господам в пояс.

По праздникам на барский двор, по собственной инициативе, собирались парни и девки и водили хороводы, щедро оделяемые пряниками и кренделями.

К «барину» шли из села все со своей нуждою, с просьбой, за разрешением «спора с соседом», и все делалось, как рассудит «барин».

Сохранилось в полной силе, если можно так выразиться, «нравственное крепостное право» или лучше сказать все, что было в нем, то есть в подчиненном отношении, хорошего крестьянина к хорошему помещику, идеально-правового, основанного на их взаимной пользе, барин, как интеллигент, вносил в темную массу знание, как капиталист, давал беднякам деньги, а крестьяне платили ему работой.

В Серединском не было при Герасиме Сергеевиче «ряды на работы». Что «барин положит» – было мерилom, и барин не обижал, платя даже более высокую плату с процентом доходности.

Крестьяне понимали, что с ними поступают «по-божески», и сами следили друг за другом на работе и за ее исполнением.

Село и усадьба, несмотря на то, что господа пребывали в ней только половину года, жили одною жизнью, радовались одною радостью и печалились одною печалью.

Немудрено, что известие о том, что молодой барчук отслужил и едет к родителям, волновало не только домашнюю прислугу, среди которой были почти все бывшие крепостные люди Савиных, оставшиеся после воли тоже без всяких условий найма, на основании стереотипно обращенной к барину фразы: «не обидите», но и всех крестьян села Серединского.

Наконец в последних числах сентября, рано утром, по селу сперва проехал шагом экипаж, посланный встретить «молодого отслужившего барчука» на ближайшую станцию железной дороги.

Хотя крестьяне знали, куда едет экипаж, но все же многие из них выходили из своих изб и вопросительно кричали знакомому им кучеру Селифонту:

– За барчуком?

– За ним самим... – откликнулся кучер, вынимая носогрейку и сплевывая в сторону.

Таких вопросов, пока он проезжал по улице села, было более десятка. Только и слышалось:

– За барчуком?

– За ним самим...

В иных местах возгласы варьировались прибавлениями:

– С Богом!

– С Христом!..

Последний возглас принадлежал бабам, почему-то любящим эту форму пожелания.

Наконец экипаж выехал за околицу села и скрылся из виду.

Не говоря уже об усадьбе, во всем селе наступили часы ожидания.

После завтрака Фанни Михайловна прошла вместе с мужем в его кабинет. Она пробыла с ним с глазу на глаз около часа и вышла расстроенная, с заплаканными глазами, видимо, не смягчив его гнев на сына.

Она прошла в молельню, где пробыла тоже с час времени и как будто бы успокоилась... Она почувствовала, что молитва ее услышана и не ошиблась.

За обедом Герасим Сергеевич, все время, до выхода за стол, остававшийся в своем кабинете, сказал ей первый:

– Успокойся, я не буду резок... Я не согласен только на одно – на брак.

Фанни Михайловна с благодарностью посмотрела на мужа и на ее губах заиграла, исчезнувшая было за последние дни, ее обыкновенная добродушная улыбка.

После обеда до приезда сына оставалось уже несколько часов. Ажиотаж увеличивался.

Зиновия Николаевна тоже волновалась в последние дни.

Прежде всего она молчаливо сочувствовала «тете Фанни», как звала она Фанни Михайловну, в романической стороне вопроса о будущем ее сына.

«Почему ему нельзя жениться на такой хорошей, прелестной и честной девушке? – Фанни Михайловна описала ей Маргариту Гранпа по письмам сына. – Только потому, что она танцовка – это отсталое понятие... Ах, какой дядя... отсталый», – думала гимназистка-медальерка.

Впрочем, ее волновал еще и самый приезд Николая Герасимовича, которого она почти не знала, видела мельком в Москве, но о котором слышала от той же Фанни Михайловны столько восторженных описаний его красоте, уму, ловкости и молодечеству.

Она знала его жизнь во всех мельчайших подробностях, конечно, впрочем, ту часть ее, которую он не скрывал от матери в письмах, начиная от любви семилетнего Коли к французке-бонне и некоторых из петербургских походов последнего пребывания его в этом городе.

– Золотая, но горячая голова!.. – восклицала восторженно Фанни Михайловна. – Если умная, хорошая женщина сумела бы взять его в руки, он был бы прекрасным мужем, я в этом более чем уверена.

«Отчего я не могу быть этой хорошей, умной женщиной», – мелькала мысль в головке Зины, но она быстро отгоняла эту нелепую мысль.

Имело также большое значение для нее, что молодой Савин ехал из Петербурга.

Последний – в нем Зина никогда не была – рисовался ее воображению почти волшебным городом.

Там жили и живут выдающиеся литераторы, там источник знания для женщин: женские медицинские и другие высшие курсы.

«Высшие женские курсы есть и в Москве, – думала Зиновия Николаевна. – Но это не то... Там, как в университете...»

В Петербург Зина стремилась всеми своими помыслами. Ей страстно хотелось сделаться «женщиной-врачом», но дядя Герасим Сергеевич, когда она высказала ему это желание, даже рассердился:

– Замуж я тебя отдам... Довольно учена... И от твоей учености, если муж не сбежит, скажи слава Богу...

«Ах, какой же дядя... отсталый...» – мелькнуло в ее уме.

Так рушились ее мечты о медицинском образовании, но Петербург все же остался для нее обетованной землей.

И вот оттуда едет сюда этот красивый, умный человек... Золотая, но горячая голова...

Сердце Зины усиленно билось. Она сама не знала отчего.

Она понимала, что сердце молодого Савина занято, что она, бедная девушка, безвестная Зиновия Богданова, не может быть для него той «хорошей, умной женщиной», которая должна составить его счастье, что это удел той... танцорки... – и все-таки ожидала его с каким-то все более и более усиливающимся волнением.

Это было просто волнение молодой крови – дань известному возрасту, а Зина толковала его иначе и недоумевала.

Время шло, как это всегда бывает, в ожидании, томительно долго.

Было уже около шести часов вечера, а экипаж еще не показывался.

Зина несколько раз бегала на бельведер с биноклем, но на почтовом тракте не появлялось черной точки, которая могла бы вырасти в ожидаемую коляску.

В начале седьмого, когда уже стало смеркаться, новая астрономка, наконец, открыла ехавший по дороге экипаж.

– Едут, едут!.. – с криком сбежала она с бельведера. Этот крик всполошил весь дом, но был преждевременен. Николай Герасимович был еще верстах в трех от села.

Он приказал ехать тише и задумчиво сидел, откинувшись в угол покойной венской коляски.

Савин был в штатском – дорожном пальто и черном котелке.

– Тише, тише! – приказывал он кучеру, хотя тот почти и то уже ехал шагом.

Казалось, ему хотелось отдалить свидание с отцом и матерью и не так скоро увеличить расстояние, лежавшее между ним и оставшимся позади Петербургом.

Мысли его неслись из последнего в Серединское и обратно.

В Петербурге он оставил все, что было дорого для него в жизни – Маргариту Гранпа.

В течение почти трех месяцев он все собирался в деревню, но не мог решиться расстаться с маленькой, уютной, казавшейся ему очаровательной, квартиркой бабушки Бекетовой, где каждый день проводил с Марго два-три часа наедине.

Это были часы того неизъяснимого на словах и неопишуемого пером блаженства. Скорее его может передать кисть или карандаш художника.

Это было блаженство влюбленных.

С этими-то часами блаженства и не решался расстаться Николай Герасимович.

Наконец в начале сентября вышел приказ об его отставке и, переждав еще почти три недели, Савин написал сперва, как известно, письмо, а затем в конце сентября выехал из Петербурга.

Он припомнил теперь свое прощанье с Марго.

Это был тяжелый момент для обоих.

«Это необходимо для нашего счастья!» – повторял он мысленно и теперь ту фразу, которую сказал ей тогда, но между тем сердце его, как теперь, так и тогда, болезненно сжалось. Точно какое-то страшное предчувствие, что он теряет ее навсегда, а теперь с каждым шагом лошадей все более и более удаляется от нее – закралось в его сердце.

– Тише, тише!.. – невольно крикнул он кучеру.

– Да что вы, барин, и то почитай шагом едем, – обернулся к нему, не выдержав Селифонт, – папенька с маменькой чай заждались совсем, глаза все с вышки проглядели...

– Ну, хорошо, хорошо, поезжай, как знаешь, – отвечал отрезвленный таким замечанием кучера Савин.

Они проезжали по селу, и Николай Герасимович отвечал на поклоны вышедших из изб крестьян.

Мысли его между тем под впечатлением слов Селифонта перенесли в Серединское.

Его там ждут – в этом он не сомневался, но что ожидает его там – вот вопрос.

Относительно наделанных им долгов он был спокоен, он знал своего отца, честь имени Савиных может заставить его снять с себя последнюю рубашку, он пожурит его и заплатит, заплатит все до копейки.

– Среди Савиных не было не плативших долгов! – с гордостью говорил он.

Не это теперь беспокоило Николая Герасимовича. Нет, далеко не это!

Эта гордость рода, это отстаивание его чести со стороны его отца, разрешавшие так благополучно первый вопрос, неодолимой преградой восставали при разрешении в желательном для молодого Савина смысле второго вопроса, – вопроса о женитьбе его на Гранпа.

Брак с танцовщицей для Герасима Сергеевича несомненно представляется «неравным браком».

– Une messaliance! – даже вслух проговорил Николай Герасимович.

Селифонт, полуобернувшись, покосился на него, но в это время лошади въехали уже в аллею, ведущую к усадьбе, и он ударил вожжами лошадей, которые, дружно подхватив, крупной рысью понеслись в гору.

«Вот он и родительский дом! Что-то будет!» – пронеслось в голове Савина.

Коляска остановилась у подъезда.

XVI

Миллионер в рубище

Буквально выкинутый сильною рукою Николая Герасимовича Савина в коридор Европейской гостиницы, Вадим Григорьевич Мардарьев долетел до противоположной стены широкого коридора и, упершись в нее обеими руками, удержался на ногах.

Первою мыслью его было исполнить свое обещание, данное в разговоре с Савиным, и закричать: «Караул, грабят!»

И он уже выкрикнул первый слог этого слова, но вдруг весь этот высокий, красивый коридор с полом, устланным прекрасным ковром, со спускавшимися с потолка изящными газовыми лампами и, наконец, появившиеся на его повороте двое изящных молодых людей – это были гости Николая Герасимовича – сомкнули уста Мардарьева и выкрикнутое лишь «кар» замерло в воздухе, как зловещее карканье ворона около помещения, занимаемого Николаем Герасимовичем.

Вадим Григорьевич быстро по стенке прошмыгнул по коридору, сбежал по лестнице, шагая чуть ли не через две-три ступеньки. Надев без помощи важного швейцара свое выцветшее пальто горохового цвета и такого же цвета помятый котелок, выскочил на улицу и пустился бежать сперва по Михайловской, а затем по солнечной стороне Невского проспекта, по направлению к Московскому вокзалу, точно за ним гнались призраки.

На ходу он что-то бормотал вслух и разводил руками.

Прохожие сторонились и некоторые останавливались, с любопытством смотрели ему вслед.

Стоявший у Аничкова моста на посту городской подозрительно покосился на него, сделал даже несколько шагов, взявшись правой рукой за шнурок, на котором висел свисток, но затем, видимо, раздумав, махнул рукой и вернулся на свое прежнее место.

Мардарьев продолжал свой неистовый бег.

Перебежав Аничков мост, он в три, четыре скачка буквально перепрыгнул на другую сторону проспекта и, казалось, еще стремительнее побежал дальше.

Миновав Владимирскую, он, не доходя до Николаевской, повернул направо и скрылся под красной вывеской трактирного низка.

– Дядя Алфимыч здесь?.. – обратился он с вопросом к первому попавшемуся ему навстречу половому, одетому в белые рубашку и шаровары весьма сомнительной чистоты.

Половой нес на подносе около десятка чайников, держа его на одной руке и балансируя с искусством, которому позавидовал бы любой жонглер.

– Корнила Потапыч у себя.

– Один?

– Одни-с, – на ходу ответил половой.

Вадим Григорьевич прошел три комнаты трактира, наполненные посетителями, со многими из которых он приветливо и фамильярно или почтительно раскланялся.

– К дяде?

– К Алфимычу?

– К алхимику?

Такие вопросы раздавались с некоторых столов, и на них Мардарьев отвечал утвердительным кивком головы.

Наконец он очутился перед закрытой дверью четвертой комнаты трактира и остановился перевести дух.

Тут только заметил Вадим Григорьевич, что лицо его совершенно мокро, что пот капал с висков, и, вынув из кармана пальто нечто схожее с носовым платком – род четырехугольной квадратной тряпки, отер себе лоб и лицо.

Затем он тщательно стал одергивать на себе сюртук и пальто.

Приведя таким образом в порядок свой туалет, он робко взялся за ручку двери и полуотворил ее.

– Лезь, лезь... – послышался из-за двери шамкающий голос. Мардарьев вошел.

Четвертая комната низа трактира, выходившего на улицудесятью окнами, была самая маленькая, в одно окно – это был род отдельного кабинета, с одним столом, довольно больших размеров, стоявшим перед диваном, и одним маленьким для закусок, приставленным к стене, противоположной окну.

Диван и стулья, бывшие в комнате, были обиты когда-то зеленой, теперь совершенно облупившейся американской клеенкой; из дивана в нескольких местах торчала мочалка.

На диване сидел маленький невзрачный старичок, одетый в длиннополый сюртук и сапоги бурками. Сюртук был когда-то черного сукна. Но от последнего осталась от времени одна основа, пропитанная салом, пуговицы были самые разнокалиберные, оставшаяся и так сильно порывшаяся одна сюртучная была в совершенно несвойственной ей компании костяшек и даже одной медной солдатской, на шее старика был повязан шарф, когда-то красивый, но превратившийся от насевшей на него грязи в буро-серио-малиновый. Признаков белья заметно не было, и это было одно из достоинств этого костюма, судя по которому можно было предположить о состоянии этой части мужского туалета.

Но всего замечательнее было лицо старика: совершенно оголенный череп, украшенный бахромой рыжевато-седых волос, такие же волосы росли перьями, образуя род усов под крючковатым носом и на приближавшемся к последнему загнутом кверху подбородке, производя впечатление выщипанной бороды. Несколько считааемых единицами желтых зубов выглядывало из-под тонких губ при разговоре и улыбке или гримасе, которая исправляла ее должность.

Серио-желтые нависшие брови скрывали глаза, которые давали тон всему этому оригинальному лицу, – они были совершенно круглые, совиные, блестящие, с темно-зеленоватым отливом. Настоящий цвет этих глаз было невозможно уловить: они бегали из стороны в сторону, а во время отдыха, который хозяин порой давал им, он закрывал их.

Перед стариком стояли два чайника, стакан, наполовину налитый чаем, около которого на маленьком блюдечке лежал огрызок сахара.

В стороне стояла опорожненная маленькая трактирная миска с мельхиоровой ложкой и одна из тех тарелок, на которых в трактирах подают хлеб.

Это и был дядя Алфимыч, он же алхимик, или же, как почтительно произнес половой, Корнилий Потапович. Фамилия его была Алфимов, отчего и происходило первое прозвище «дядя Алфимыч»; кличка «алхимик» была дана старику, видимо, лишь по созвучию с его фамилией, но это не мешало ему очень на нее обижаться и долго помнить того, кто при нем решился даже шутя обозвать его так.

Потому на это решались немногие, так как немногие из знавших Корнилия Потаповича не были от него в зависимости.

Корнилий Потапович Алфимов был один из столичных и притом крупных пауков-капиталистов, раскинувших свои сети и на торговый, нуждавшийся в кредите мир приневской столицы.

Корнилия Потаповича, или дядю Алфимыча, знали и крупные купцы, и блестящие франты. Для первых это знание было роковым, оно было всегда началом конца торговых оборотов. Вторых дядя Алфимыч, запутывая в тенета, если не спасали их богатые и сановные родственники, нередко доводил до скамьи подсудимых.

Кроме двойных, тройных и даже четверных векселей, он практиковал и заведомо подложные, чтобы держать свою жертву не только под мечом гражданского, но и под мечом уголовного закона.

Таков был Корнилий Потапович Алфимов.

О его прошлом и о его средствах, которыми он нажил свое колоссальное состояние, не было известно ничего положительного.

Об этом ходили лишь легенды.

Одна из этих легенд была наиболее правдоподобной.

Рассказывали, что Корнилий Потапович был крепостной дворовый человек очень богатых помещиков, носивших фамилию Алфимовских, которую в некотором сокращении получил и он. Побочный сын предпоследнего в роде, он воспитывался вместе с законным сыном своего барина, молодым барчуком, к которому, когда тот подрос, был приставлен в камердинеры.

Он был скорее друг, нежели слуга.

Молодой Алфимовский служил затем в Петербурге, женился на красавице, которая умерла в родах, оставив на руках отца дочь.

Молодой муж остался неутешным вдовцом и вместе с Корнилием вырастил девочку, воспитал и образовал ее при помощи лучших гувернантов и учителей.

Молодая девушка в восемнадцать лет была красавицей – вся в мать, – влюбилась в одного из своих учителей и бежала из родительского дома, похитив у отца из шифоньерки более ста тысяч рублей в банковых билетах на предъявителя.

Отец, ослепленный любовью к дочери, не замечал домашнего романа, окончившегося такой катастрофой, но зоркий Корнилий следил за влюбленными.

Он погнался по следам влюбленной парочки, догнал ее на одной из ближайших станций от Петербурга и под угрозой вернуть дочь к отцу и предать суду, отобрал капитал, оставив влюбленным десять-пятнадцать тысяч, с которыми они уехали за границу, где и обвенчались.

Вернувшись в Петербург, он передал своему барину-другу о бегстве его дочери с учителем и о будто неудачной его погоне за ними.

С барином случился удар, двукратно, через малый промежуток повторившийся и сведший его в могилу.

Имущество барина описали. В конторе нашли оставленные беглянкой по забывчивости шестьдесят тысяч рублей в таких же банковых билетах и в письменном столе – вольную на имя Корнилия.

Отобранный от беглянки дочери капитал остался у последнего.

Он приписался в мещане и стал увеличивать свое богатство путем ссуд под закладные и векселя. Скоро жажда наживы обратилась у него в болезнь, которою его, видимо, наказал Бог за неправильно нажитые деньги.

Он отказывал себе во всем, жил в одной комнате подвального этажа в конце Николаевской улицы и для своих деловых свиданий облюбовал грязный низок трактира, где ему отвели отдельный кабинет, который занимался гостями лишь по вечерам, а днем все равно пустовал.

Там же Корнилий Потапович обедал разного рода объедками и кусками, которые ему сваливали в одну миску по дешевой цене, и пил целый день чай из одного чайника, требуя кипятку. За чай в большинстве случаев платили клиенты.

Хозяин трактира был в числе его должников, а потому и вся прислуга почтительно относилась к миллионеру в рубище. Приходившие клиенты Корнилия Потаповича тоже давали половым на чай, и они были довольны.

Сам Корнилий Потапович не дал никогда пятачка.

Хозяин трактира собственноручно вел его незатейливый счет и вычитал из процентов.

Из-за этого каждый год выходили споры и препирательства, в которых хозяину приходилось уступать.

XVII

Комиссионер

Вадим Григорьевич Мардарьев стоял перед Корнилием Потаповичем, тяжело дыша, и молчал. В нем не прошла еще усталость, и к ней, кроме того, прибавилось волнение.

– Чего это ты сопишь, словно дилижанская лошадь, кто это тебя так упарил?.. Хе, хе, хе... – с дребезжащим смехом спросил Алфимыч. – Коли уж так устал – садись, вздохни, а там и докладывай что нужно, а то стоит предо мной, как сын... – добавил он.

Вадим Григорьевич не замедлил воспользоваться приглашением и скорее упал, нежели сел на стоявший около стола стул, который даже скрипнул.

– Тише, тише, стульев-то не ломай, хозяин – сквалыга-мужик, как раз взыщет за поломку, а они и так чуть живы... – беспокойно заметил Корнилий Потапович.

Вадим Григорьевич между тем с наслаждением предавался разрешенному ему отдыху и молчал. Молчал и Алфимов и даже, отгрызая с трудом двумя уцелевшими клыками чуть заметный кусочек сахара, стал допивать свой стакан чаю.

В комнате наступила тишина, прерываемая лишь звуками всасывания чая беззубым ртом дяди Алфимыча, да по временам тяжелыми вздохами все еще не отдышавшегося Мардарьева. Познакомим этим временем с последним поближе дорогого читателя.

Вадим Григорьевич Мардарьев, отставной прапорщик, был одним из тех лиц без определенных занятий, которых порождает столичная жизнь, как сырость мокриц.

Неопределенность занятий происходила не от отсутствия работы в большом городе и даже не от неспособности к ней лиц, подобных Мардарьеву, но от их желания найти легкую, хорошо оплачиваемую работу, не стесняясь целями и средствами. Будь это желание единичным у того или другого лица и не найди они спроса у известной части общества столичных обывателей, которое далеко не прочь обделать подчас темное дельце, лица без определенных занятий поневоле обратились бы к занятиям определенным, легальным, и «общественные язвы», растравленные ими, не существовали бы, но повторяем, общество само поддерживает эту язву, и лентяи, падкие на легкие заработки, процветают, и занятие их даже получило право гражданства под громким и звучным именем «комиссионерства».

Здесь повторился вечный, незыблемый закон политико-экономической науки: на темный спрос явилось темное предложение.

Судебные и административные власти считались, в большинстве случаев, с отдельными фактами и не обращали внимания на выводы, не задумываясь над тем, что именно из среды этих «комиссионеров» огромный процент ежегодно садится на скамью подсудимых или же высылаются из столицы за чересчур смелое казусное дельце.

Армия «комиссионеров» не редела от этих потерь, новые члены прибывали в усиленной пропорции – все слои столичного общества выбрасывали в нее своих так или иначе свихнувшихся представителей: и уволенный без права поступления на службу чиновник, и исключенный из духовного причетник, и выгнанный из полка офицер, разорившийся помещик, сбившийся с настоящей дороги дворянин, порой даже титулованный – все, что делалось подонками столицы, – все они были «комиссионерами».

Иным посчастливилось пооткрывать «конторы» или заручиться крупными клиентами – это были аристократы столичных подонков,² не только терпимые в обществе, но даже порой пользовавшиеся известным уважением – как ни странно звучит по отношению к ним это слово.

² Осадок, то, что опало на дно.

Остальная масса пробивалась, что называется, с хлеба на квас, алчно высматривая, где сорвать рубль или даже порой полтинник или менее и тотчас пропить его.

Это было жалкое существование столичных мелких паразитов с волчьими аппетитами, но и заячьей трусостью.

Это были мелкие, всеми презираемые воришки, сравнительно с их счастливыми сотоварищами – «уважаемыми грабителями».

К такой-то мелкоте комиссионерской армии принадлежал Вадим Григорьевич Мардарьев, несмотря на то, что кроме комиссионерных дел был «отметчиком» одной из уличных петербургских газет.

Объясним для непосвященных этот род газетного сотрудничества. «Отметчиком» называется мелкий репортер, хотя многие годы дающий заметки о мелких столичных происшествиях в одну и ту же редакцию, но не считаемый ею «своим сотрудником», так как его писания требуют всегда переработки и часто наведения справок, ввиду отсутствия к нему полного доверия.

Грошовая построчная, а иногда и поштучная (за заметку) плата составляет его гонорар.

Таким «отметчиком» и был Мардарьев, хотя в его рваном сильно потертом и всегда пустом бумажнике хранились визитные карточки, на которых было напечатано: «Вадим Григорьевич Мардарьев. Сотрудник петербургских изданий», но этими карточками он пользовался с благоразумной осторожностью, в случае лишь настоящей нужды, в темной массе полуграмотного люда, где имя «газетчика» было в то время равносильно известному «жупелу».

Мардарьев был человек семейный, но жена его, буквально лишь терпевшая своего супруга в своей убогой квартирке по 9-й улице Песков, занималась шитьем, – она была хорошей портнихой и кое-как перебивалась с двумя детьми, мальчиком и девочкой, из которых первому шел уже двенадцатый год и он находился в ученьи у оптика, а девочке не было девяти.

Софья Александровна, так звали Мардарьеву – чуть ли не с первых лет своего вынужденного замужества – ее первый сын родился спустя три месяца после свадьбы, а с Мардарьевым она познакомилась накануне их венчания – давно махнула рукой на Вадима Григорьевича, хотя последний чуть ли не ежедневно сулил ей в будущем золотые горы.

Он был человек фантазии необузданной.

– Ну, что ты, глядеть на меня пришел, што ли?.. – прервал наконец молчание Корнилий Потапович, отпив свой стакан чая и уставясь своими бегающими глазами на Мардарьева. – Докладывай, что твой молодчик?

Вместо ответа Вадим Григорьевич опустил обе руки в карманы своих брюк и вытащил клочки мелко разорванного векселя, положил их бережно на стол.

– Это, брат, что же? – спросил Алфимов.

– Вексель-с... Корнилий Потапович, вексель-с... Вся моя надежда-с... Все-с тут.

Голос его, полный подступивших к горлу слез, вдруг оборвался, и он зарыдал. Видимо, все, накопившееся в нем с момента вылета из номера Савина и бега до низка трактира, горе и озлобление вылилось наружу.

– Хе, хе, хе... – раскатистым добродушным смехом захохотал Корнилий Потапович... Дурак же ты, братец мой, дурак, так в руки ему и отдал.

– Такой-с важный, приятный господин... – среди рыданий ответил Мардарьев.

– Важный, приятный... – передразнил его Алфимов, – хе, хе, хе.

Вадим Григорьевич принялся громко всхлипывать.

– Да что ты плачешь, как баба какая, говори толком... – вдруг строго оборвал его Корнилий Потапович. – Или забирай свою лапшу и пошел вон... Не время мне с тобой бобы разводить, ишь нюни распустил.

Мардарьев встрепенулся.

Быстро рукавом своего горохового пальто утер он слезы.

– Сейчас, сейчас... Корнилий Потапович... отец-благотель, на вас вся надежда... Вы один можете мне посоветовать, я в вас верю, как в Бога, верю-с... – прерывающимся голосом затараторил Вадим Григорьевич.

– Ну, ну, не болтай вздору, говори... – смягчился Алфимов.

Мардарьев, спеша и путаясь, но все же с мельчайшими подробностями, кончая даже своим полетом поперек коридора Европейской гостиницы, рассказал все происшедшее в номере Савина.

Корнилий Потапович слушал внимательно, не перебивая.

Когда Мардарьев кончил, то Алфимов несколько времени молчал, сидя в глубокой задумчивости.

Вадим Григорьевич глядел на него полными страха и надежды глазами.

– Чувал я, что в этом вексельке что-то неладное. Недаром тебе его подарили... Четырех тысяч тоже так не подарят... Савин богат... Не он – отец... Отец за него долг заплатит... Это я доподлинно знаю и векселей у меня на этого молодца много... Вексель его подарить, значит все равно, что четыре тысячи подарить... Кто же это сделает... Взяло меня тогда, когда ты его принес мне, сумление, ан и оправдалось... Вексель-то безнадежный... По начальству о нем заявлено... У меня, храни Бог, на имя Соколова нет... У меня все бланки важные... А то вдруг тебе в четыре тысячи Савина вексель подарят... Благотель какой нашелся.

– Позвольте... Корнилий Потапович... как это подарят-с... Ведь это не подарок, кровные мои деньги-с... Ведь я вам докладывал-с.

– Это о том, что деньги эти тебе был должен Семиладов за женитьбу на его душеньке, за прикрытые грехи?

– Именно-с, Корнилий Потапович... Ведь я ей имя дал, также и сыну его, Семиладова-то... Как родного люблю Ваську... Он тогда мне пять тысяч обещал, тыщу в задаток перед венцом дал, а затем и на попятный. Я его и так, и сяк... Ничего с ним не поделаешь. Сперва совсем к нему не допускали, как женихом был, а потом женился, первое время никак его подстеречь не мог... Наконец накрыл... И не заикайся, говорит, довольно с тебя, у тебя жена-князя, да с тысячью приданного... Какого тебе, мозгляку, рожна еще.

– Верно... – вставил замечание Алфимов.

Вадим Григорьевич остановился, испуганно посмотрел на старика, несколько минут помолчал, приняв обиженный вид, а затем продолжал:

– Помогать, помогать, говорит буду... а то отдай тебе такую уйму денег, как четыре тысячи, так ты сопьешься и околеешь... Это я-то!

– Верно... – снова заметил Корнилий Потапович, но на этот раз Мардарьев пропустил это замечание мимо ушей.

– Ну, действительно, Соньке по малости помогал и помогает, так, к Рождеству, к Святой, 17 сентября, день ее ангела, да от нее разве что мне перепадет. Кремень-баба.

– Умна! – вставил Алфимов.

– А я между тем имя дал... – воскликнул Вадим Григорьевич... – Ей и сыну имя дал.

– Имя... – вдруг обозлился Корнилий Потапович, – и что ты пустяки лопочешь... имя... какое у тебя, паршивец, имя?

– По... по... позвольте... – покусился перебить его Мардарьев, даже привскочив на стуле.

Но это был мгновенный порыв, он тотчас же снова смирно уселся на него и даже как-то весь осунулся и притих.

– Грош твоему имени цена... Вот что, а ты тыщу взял... Да думал еще четыре заполучить... Ишь у тебя аппетит волчий... А сноровки нет...

– Однако, Корнилий Потапович, они сами, Семиладов-то год тому назад меня призывают и этот самый вексель дают-с... На, говорит, тебе, в уплату моего долга, получишь – твое счастье. Значит они сознают.

– Ничего не значит... Прознал он вексель-то у него какой, может его за тыщонку, а то и меньше учел... Видит, дело дрянь, денежки все рано пропадают, дай, думает, потешу дурака... Тебе и отдал... А ты меня хотел подвести... но только меня трудновато... Нюх есть... ой, какой нюх... Вексель-то эти на ощупь оцениваю... по запаху цену назначу... Хе, хе, хе... – раскатился старик довольным смехом.

Сбитый в мыслях, Мардарьев молчал.

– А у тебя, говорю, сноровки нет... Ишь какую лапшу из его документа дозволил мальчишке сделать. – Алфимов рукою указал на лежавшие на столе клочки разорванного векселя. – Сейчас караул бы закричал, полицию бы навел, откупился бы он, струсил.

– Я это и хотел-с, Корнилий Потапович.

– Хотел-с... – передразнил его старик. – Чего же не сделал?

– Обстановка-с... Страшно-с стало... Важное такое место, роскошное, можно сказать... Язык прилип в гортани.

– То-то же... Глуп ты, а еще писатель... А то имя.

Старик замолчал.

– Так что же делать теперь, Корнилий Потапович? – не произнес, а скорее простонал Вадим Григорьевич.

Корнилий Потапович не отвечал ни слова. Он сидел с закрытыми глазами.

XVIII

Благодетель

– Ты еще здесь? – открыл глаза Корнилий Потапович Алфимов.

– Я-с... Здесь... – с недоумением ответил Вадим Григорьевич, с томительным беспокойством ожидавший ответа на свой вопрос: «что делать?» и совершенно не подготовленный к заданному ему вопросу.

– Что же тебе от меня надо?.. Вексель я, если бы и хотел купить у тебя, не могу, так как его нет...

Алфимов указал снова рукою на оставшиеся на столе клочки бумаги.

– Что же, значит на него и управы нет, на Савина, на этого?..

– Как нет, управа есть, управа на всех найдется, но надо, чтобы были поступки... – докторальным тоном ответил Алфимов.

– Какие же к нему еще поступки надо?.. – заволновался Мардарьев. – Ежели к нему человек с документом приходит, а он документ в клочки, а человека за шиворот и на вылет...

– Чудак человек, ведь какой документ, да и какой человек... У иного человека и шиворота-то нет, ухватит он его и подумает, а другой, так весь один шиворот, толкай не хочу... Так-то...

– Что же, какой документ... Документ, как документ – вексель... Мне нет дела, что он украден у него, я третье лицо... – продолжал горячась Мардарьев, не поняв или не захотев понять намека Корнилия Потаповича о человеке-шивороте.

– Ну, какое же ты лицо... Ты совсем не лицо... Ха, ха, ха... – прервал его Алфимов и захохотал.

– То есть как не лицо, Корнилий Потапович?

– Так, ты один шиворот... Вот тебя за него взял да и...

Алфимов жестом показал, как выталкивают в шею.

– Вы все шутите. А мне не до шуток, – обиженно произнес Мардарьев.

– Не плакать же мне с тобою прикажешь... Лицо... Ха, ха, ха... – расхохотался снова Корнилий Потапович.

Вадим Григорьевич сидел совершенно уничтоженный и обиженный.

– Так что же, значит, теперь всему пропадать!.. – после некоторой паузы воскликнул он. В этом восклицании слышалось неподдельное отчаяние.

– Как же ты это в толк взять не можешь?.. – вдруг, сделавшись серьезным, заговорил Алфимов. – Коли вексель этот безденежный, коли об этом по начальству заявлено своевременно... опять же находится в таких подозрительных руках... Ведь на тебя кто ни посмотрит, скажет, что ты этот вексель как ни на есть неправдой получил, и денег за него не давал... потому издалека видно, что денег у тебя нет, да и не было...

– Ну, как не было...

– Деньги, брат, у того только есть, кто им цену знает, а ты хоть сотню тысяч имей, пройдут между рук, как будто их и не было... А ты им цены не знаешь... Принес ты мне намеренся этот самый вексель, учти за три тысячи, я отказал; за две, говорил, я говорю не могу; бери за тыщу... Так ли я говорю?

– Так-с...

– Так-с... – передразнил Алфимов Мардарьева. – А ведь ты не знал, что вексель этот с изъяном?

– Не знал, видит Бог не знал...

– Верно... А если бы ты цену деньгам знал, уступил ли бы ты четыре тысячи за три и даже за тыщу?.. А?..

Корнилий Потапович остановился и вопросительно поглядел своими бегающими глазами на Вадима Григорьевича. Тот молчал.

– Кабы ты не спешил сбавлять цену, да был бы человек по виду пообстоятельнее, да не знал бы я тебя, кто ты есть таков, может я три с половиной тыщи тебе за этот вексель дал, да теперь сам попался, вот оно что...

– Это вы, Корнилий Потапович, правильно... Горяч я-с... Мне сейчас вынь да положь... Сам виноват, каюсь...

– А меня Бог спас! – произнес торжественно Алфимов и снова закрыл глаза.

– Так как же-с, Корнилий Потапович? – снова простонал Мардарьев.

– Что, как же? – открыл тот глаза. – Вот пристал-то... Что тебе надо?..

– Может все же можно что-нибудь с него получить?.. Лоскутки все целы...

Вадим Григорьевич бережно стал расправлять клочки векселя и складывать их на ска-
терти.

– Получай, коли сможешь... Твое счастье...

– Вы бы мне посоветовали как...

– Постой... Савин, Савин... Николай Герасимович, – вдруг заговорил как бы сам с собою Алфимов и опустил руку в боковой карман своего сюртука и вытащил из него объемистую грязную тетрадь серой бумаги, почти всю исписанную крупным старческим почерком.

Положив тетрадь на стол, он стал ее перелистывать, мусоля пальцы слюнями.

Мардарьев с благоговением смотрел на занятие старика и на самую тетрадь, которую тот перелистывал, как бы чуя, что в ней его спасение.

– Так и есть, на имя Соколова векселей нет, – произнес Корнилий Потапович.

У Вадима Григорьевича упало сердце.

«Так вот он о чем», – промелькнуло в его уме.

Надежда, впрочем, снова закралась в его сердце.

Алфимов продолжал перелистывать тетрадь. Наконец он нашел, видимо, нужную ему запись и несколько, раз перечитал ее.

– Вексель-то склеить можно? – вдруг спросил Алфимов.

– Можно-с... Все лоскутки до одного целехоньки... А что?

– Склей к завтраму... Сотнягу нажить дам.

– Сотнягу... – упавшим голосом повторил Вадим Григорьевич. – По векселю-то ведь четыре тысячи, кровных...

– Опять за свое... Так тебе мало?.. Ишь, у тебя, говорю, аппетит-то волчий... Пошел вон...

– Накиньте хоть полсотенки...

– Пошел вон!

– Ин будь по-вашему...

– Нет, теперь я раздумал...

– Благодаритель, простите, – взмолился Мардарьев.

– То-то... взмолился... А то, паршивец, торгуется, как заправский купец, будто и впрямь продает что... Ты завтра утречком ко мне понаведайся... Прошеньице напишешь куда следует, о поступке с тобой дворянина Савина и о нанесенном тебе оскорблении и наклеенный на бумагу вексель к оному приложишь... Он тебя это один на один отчехвостил?..

– Никак нет-с, при свидетеле.

– При свидетеле!.. Не знаешь кто?..

– Знаю-с... Корнет Маслов, Михаил Дмитриевич.

– А, приятель его... Знаю и его тоже. Обстоятельный офицер... Его и выставишь в сви-
детели...

– А что дальше?

– Дальше, отдашь мне прошение... Я по почте отправлю... и сотнягу получишь... Когда вызовут – подтвердишь.

– А вам-то это на что?

– Много будешь знать, скоро состаришься...

Вадим Григорьевич задумался.

– Ну, а теперь проваливай... недосуг. И так с тобой с час проваландался... коли хошь завтра утром будь здесь, а коли не хошь, как хошь... Собирай свою лапшу...

В тоне этого приказа послышались такие решительные ноты, что Мардарьев, бережно собрав разорванный вексель и сунув его в карман, вышел, сказав:

– Так до завтра.

– До завтра... Прошение изготovy, подпишешь здесь, при мне...

– Слушаю-с...

Когда дверь кабинета затворилась за Вадимом Григорьевичем, Корнилий Потапович снова принялся за рассмотрение своей тетради, перелистывая ее взад и вперед и делая про себя одному ему понятные односложные замечания. Это были скорее не слова, а продолжительные междометия.

Если бы эта тетрадь Алфимова сохранилась бы до настоящего времени, она была бы драгоценным материалом для обрисовки нравов той эпохи, к которой относилась. Это было собрание не только финансовых, но и семейных тайн многих выдающихся и известных лиц Петербурга, в ней была история их кредитоспособности, фамилии и адреса содержанок женатых людей и кандидаток в них. В этой тетради была канва для всевозможного рода шантажа, по которой искусный и беззастенчивый человек мог вышивать желательные для него узоры.

К чести Корнилия Потаповича, мы должны сказать, что он прибегал к помощи собранных и собираемых им сведений, аккуратно записанных им в эту тетрадку, в редких и исключительных случаях.

Окончив ее просмотр, он бережно сложил ее и опустил снова в боковой карман сюртука, закрыл глаза и задумался.

Алфимов думал об устроенном деле.

Читатель, конечно, понял, что предлагая Мардарьеву сто рублей за разорванный Савиным вексель и прошение об его разрывании и нанесении Мардарьеву личного оскорбления, Корнилий Потапович был далек от благотворения Вадима Григорьевича.

Добрые дела и не входили в сферу деятельности этого паука-ростовщика.

Это понял и сам Мардарьев и усиленно ломал себе голову, возвращаясь домой, зачем этому «старика-дьяволу», как непочтительно заочно думал о нем Вадим Григорьевич, понадобились этот, по его же словам, ничего не стоящий вексель и прошение, так понадобились, что он предложил ему, Мардарьеву, сто рублей.

Обдумывание этого вопроса не привело, однако, ни к каким результатам, он оставался без ответа.

Ясно было лишь для Вадима Григорьевича одно, что «старый дьявол», «алхимик», выдав эту сотню рублей, заработает в десять, двадцать, а может и тридцать раз более, но как?

Если бы этот вопрос Вадиму Григорьевичу удалось разрешить, хотя частично, он мог бы с ним торговаться и не дать назначить себе цену без разговоров.

«Хошь, так хошь, а не хошь, как хошь...» – со злобой вспомнил он фразу Алфимова.

«Корчит из себя, старый черт, будто ему и впрямь совсем этого векселя не надо, а спрашивает все же, цел ли весь?...» – продолжал думать Вадим Григорьевич, уже шагая по Слоновой улице.

– Благотворствует, говорит... Ишь благодетель какой выискался!.. – даже вслух повторил Мардарьев, входя во двор, где помещалась квартира его жены и на подъезде была изоб-

ражена на вывеске дама с талией осы и длинным шлейфом, а сверху и снизу было написано черными буквами на белом фоне: «Портниха мадам Софи».

– Благодетель, алхимик... – повторил снова вслух Вадим Григорьевич, скрываясь в подъезде.

Думы Корнилия Потаповича были прерваны явившимися один за другим несколькими клиентами.

Это были все лица, далеко не гармонировавшие с публикой описанного нами низка трактира: два каких-то солидных господина, офицер и даже порядочно одетая не старая дама под густой вуалью.

Алфимов неизменно принимал их в своем кабинете... бесстрастно выслушивал их, бесстрастно вынимал документы, отдавал деньги и брал, возвращал документы и также бесстрастно отказывал в просьбах.

Последний клиент, видимо, почтенный купец задержался и приказал подать чаю... Он уплачивал деньги в окончательный расчет, а потому счета затянулись.

Когда наконец он ушел, заплатив за чай, Корнилий Потапович бережно собрал оставшиеся четыре куса сахара и сунул их в карман, затем, позвав полового, приказал сохранить ему недопитый чай до утра.

– Ты завтра мне его и подогрей, зачем пропадать, – сказал Алфимов.

– Слушаю-с... – с чуть заметной усмешкой отвечал слуга.

Корнилий Потапович вынул из кармана громадную серебряную луковицу-часы и посмотрел на нее.

Было половина пятого.

Несмотря на то, что всегда он сидел до пяти, в описываемый нами день он нахлобучил, бывший когда-то плюшевым, а теперь ставший совершенно неизвестной материи, картуз, который относил зиму и лето, надел с помощью полового старое замасленное и рваное пальто, взял свою палку с крючком, вышел из низка на улицу и пошел по направлению к Владимирской, видимо, не домой.

Он ходил несколько согнувшись, но быстро и твердым шагом.

XIX

Крашенная кукла

На Большом проспекте Васильевского острова в половине семидесятых годов стоял громадный двухэтажный каменный дом, весьма старинной и своеобразной для Петербурга архитектуры.

Дом этот существует, впрочем, и до сегодня, но по внешнему его виду изменился совершенно неузнаваемо.

Теперь это один из обыкновенных громадных петербургских домов, пятиэтажный фасад которого выходит на улицу со множеством торговых помещений; в доме приютился и большой трактир.

При входе под ворота, находящиеся в середине дома, во дворе взору посетителя представлялся такой же другой пятиэтажный дом, причем нижних два этажа резко отличаются по форме постройки от верхних.

Разница эта бросается в глаза уже и потому, что два нижних этажа оштукатурены и на них даже видны следы лепных украшений, тогда как верхние три – кирпичные, как и дом, выходящий на улицу.

Посреди двора обращают на себя внимание два дерева с густой листвой; такие же деревья растут и на втором обширном дворе, занятом надворными постройками и складом строительных материалов.

В описываемое нами время дом был, повторяем, двухэтажный, окрашенный в светло-желтую краску и поражал своею архитектурой и затейливыми лепными украшениями. Весь карниз был из головок амуров, выглядывавших из гирлянд цветов; в широких простенках внизу, между двенадцатью, а наверху, четырнадцатью большими окнами по фасаду, выделялись лепные мифологические фигуры, расположенные одна над другой, нижние как бы поддерживающие куски колонн и служащие пьедесталом для верхних, и так далее. Большой подъезд, навес которого тоже поддерживался такими же фигурами-колоннами, делил нижний этаж на две равные части.

Сам дом стоял в глубине двора-сада, отделенного от улицы железной решеткой в каменных столбах, на вершине которых находились шары с воткнутыми в них острием вверх копьями; в середине были такие же железные ворота, на столбах которых были традиционные львы.

За домом шел огромный сад, обнесенный каменной оградой, калитка в которой выходила в совершенно пустынный переулок, даже кажется в то время не имевший названия.

Два совершенно отдельные одноэтажные флигеля, в четыре окна каждый, выходили на улицу. Надворные постройки, как то: конюшня, каретный сарай, другой сарай, погреб и прачечная, были расположены за флигелями.

Посередине двора стояла целая куца деревьев, вокруг которых надо было объехать, чтобы попасть к подъезду.

Такие же деревья росли и с боков главного дома, полузакрывая надворные постройки – словом, дом, стоявший на фоне заднего разросшегося сада, казался, весь в зелени.

Проезжавшие или проходившие в первый раз по Большому проспекту невольно останавливались перед этим оригинальным строением.

Зеркальные окна дома в солнечный летний и в особенности зимний день, когда все деревья были покрыты блестящим инеем, придавали ему почти волшебный вид.

Оригинальный дом этот принадлежал Аркадию Александровичу Колесину, уже знакомому нашим читателям по фамилии, одному из горячих поклонников очаровательной Гранпа,

сопернику Николая Герасимовича Савина в деле ухаживания за этой восходящей звездой балета.

Читатель не забыл, вероятно, что молодой Максимилиан Гранпа определил его внешние и внутренние качества несколькими словами: «крашенная кукла» и «шулер».

Это определение было, надо сознаться, довольно метко и справедливо.

Еще, пожалуй, не старый – ему было за сорок, высокий, статный – но совершенно отживший человек, он уже несколько лет прибегал к усиленной реставрации своей особы с помощью корсета, красок для волос и всевозможных косметик, и только после более чем часового сеанса со своим парикмахером, жившим у него в доме и хранившим тайну туалета барина, появлялся даже перед своей прислугой – жгучим брюнетом с волнистыми волосами воронового крыла, выхоленными такими же усами, блестящими глазами и юношеским румянцем на матовой белизны щеках.

В таком виде пребывал он до поздней ночи, а иногда и до утра, хотя в последнем случае, по ядовитому замечанию своих друзей-приятелей, начинал «несколько линять».

Таковыми друзьями-приятелями у него был весь фешенебельный Петербург.

Колесин не стеснялся в деньгах, слыл даже за очень богатого человека, служил когда-то в одном из блестящих гвардейских полков и носил древнюю дворянскую фамилию – вот все, что надо было петербургскому свету, чтобы раскрыть двери своих гостиных Аркадию Александровичу.

Какое дело было тому же свету, откуда черпает Колесин те самые богатые средства, которые при том умении ими пользоваться, каким обладал Аркадий Александрович, казались еще больше?

Знали, что он игрок, говорили даже, «что счастливый игрок», втихомолку называли даже шулером, но доказательств последнего не было никаких, никто никогда не поймал его на передержке, никто не накрыл его с крапленой колодой.

Он часто даже проигрывал, и настоящие игроки готовы были присягнуть, что Колесин играет чисто.

Правда, у него в доме в задних комнатах велась каждую ночь большая игра, но он почти не принимал в ней участия – он любил только, чтобы собирались у него по чисто русскому широкому хлебосольству.

Он выписал даже из-за границы рулетку и поставил ее в отдаленную комнату своего дома, но он сделал это для приятелей, любителей сильных ощущений.

Банк в рулетке держался от самого хозяина, особо приставленным для этого крупье.

Среди его гостей также, правда, всегда было несколько подозрительных личностей, но и сам хозяин хорошенько не знал их, принимая в Петербурге, по московскому обычаю, и званых и незваных.

Поговаривали, впрочем, что у Колесина, на вечерах редко можно выиграть. Выигрывали все какие-то неизвестные личности, не принадлежащие к свету, приезжие помещики, адвокаты...

Бывали случаи, однако, что и лицо из общества выигрывает довольно крупный куш, и слава об этом идет, тогда как те, которые проигрались, по большей части молчат...

Этим не только смягчалась, но прямо возвышалась репутация колесниковских вечеров.

Аркадий Александрович жил в правой половине нижнего этажа, где у него были так называемые жилые комнаты, маленький зал, приемная, гостиная, кабинет и спальня.

Весь верхний этаж был занят парадными комнатами, роскошно меблированными гостиными; там же помещались и игорные комнаты и комната, где находилась рулетка.

Левая часть нижнего этажа была совершенно скрыта от постороннего глаза, шторы на окнах были всегда спущены, а перед дверью, ведущей из громадных сеней с шестью колоннами

в эту половину, всегда в кресле сидел седой швейцар, встававший при входе посетителя и неизменно повторявший одну и ту же фразу:

– К Аркадию Александровичу дверь направо.

У этой двери направо был свой швейцар, снимавший с гостей верхнее платье и дававший звонок, на который ливрейный лакей, если то был приемный час, открывал дверь.

Носились слухи, что в левой половине нижнего этажа помещался гарем Колесина, в котором были, как передавали «всезнайки», красивейшие женщины всех наций и даже негритянка.

Жители соседних домов по Большому проспекту подтверждали те же слухи, клятвенно уверяя, что видели не раз выглядывавшие украдкой из-под спущенных штор миловидные женские личики, а в саду зимой и летом слышались женские голоса.

Местные полицейские власти, конечно, знали об этом более основательно, но они не считали нужным быть болтливыми.

Существование домашнего гарема не мешало, однако, в описываемое время Аркадию Александровичу быть по уши влюбленным в Маргариту Максимилиановну Гранпа.

Он не щадил средств на букеты, венки и подарки молоденькой танцовщице, а также не забывал и ее мачеху, которая, как мы знаем, была на стороне этого претендента на ее падчерицу и даже сумела склонить к тому и своего сожителя – родного отца Маргариты.

Оба они, пропитанные до мозга костей балетными традициями, а особенно последний, быть может совершенно искренне желали счастья Марго и заботились о ее судьбе, а эта судьба в среде звезд парусинного неба всецело определялась словами «попасть на содержание».

Швыряющий без счета деньги, Колесин в балетном мире, конечно, считался хорошим «содержателем».

Не так, как мы знаем, думала пока Маргарита Максимилиановна и не так глядела, вообще, на судьбу своей любимой внучки бабушка Нина Александровна Бекетова.

Увоз первой из родительского дома Савиным, укрывшим свою «невесту», как называли уже Гранпа в театральных кружках под покров ее бабушки, произвел, конечно, переполох в ее семье, но отец Маргариты побаивался Нины Александровны и предпринимать что-нибудь против старушки, несмотря на настояния своей сожительницы, не решался, даже ездить к Нине Александровне он не смел, так как старушка все равно не приняла бы его, прозевавшего и погубившего, как она выражалась, ее дочь – мать Маргариты.

Театры летом закрыты, а потому встретить дочь на сцене и уговором ее возвратить не представлялось возможности.

Эта победа Николая Герасимовича Савина, конечно, дошла и до Аркадия Александровича Колесина.

Он, что называется, рвал и метал в бессильной злобе.

– Десять тысяч не пожалел бы тому, кто бы устранил с моей дороги этого бесшабашного сорванца... – говорил он в кругу своих друзей-приятелей.

У Максимилиана Эрнестовича и Марины Владиславовны он продолжал бывать почти ежедневно, участвуя в семейных советах о мерах, которые можно было бы предпринять для возвращения Маргариты.

Но никаких действительных мер придумать было невозможно.

Старуха Бекетова стояла перед своей внучкой надежным стражем.

Максимилиан Эрнестович знал, что старушка имела в Петербурге связи, что ее уважали в довольно высоких сферах, что голос ее, поднятый в защиту внучки, которой отец с сожительницей препятствуют выйти замуж для того, чтобы продать подороже, будет услышан и надевает ему неприятностей.

Это понимала и Марина Владиславовна и только отводила, как говорится, душу, упрекая в слабости и тряпичности своего Максимилиана Эрнестовича.

Колесин, тоже как огня боявшийся всяческой огласки, был на стороне последнего, который предложил обождать до начала сезона, то есть до возобновления балетных спектаклей.

– Но в каком положении у них роман? – допытывался Колесин.

– В каком? Да ни в каком... Воркуют себе в квартире у бабушки; он ждет отпуска и хочет ехать к родителям просить благословения... Дадут они ему его, так и есть, дождайся... – утешал Аркадия Александровича Максимилиан Эрнестович.

Все эти сведения он получил от Анны Александровны Горской, а последняя от Михаила Дмитриевича Маслова, которого Николай Герасимович посвящал во все свои надежды и упования.

– Эх, как бы его скорей угнали отсюда черти! – восклицал Колесин. – И что она в нем нашла такого... Беспутный малый...

– Ну, положим, он красив... – подливала масла в огонь Марина Владиславовна. – Да и уедет, много вам корысти не будет, вернется... Напрасно Макс думает, что родители его ему не позволят жениться на ней... Отчего? Рады еще будут, может-де остепенится...

Аркадий Александрович краснел и бледнел даже под толстым слоем белил и румян.

– Десять тысяч бы не пожалел тому, кто устранил бы с моей дороги этого сорванца... – все чаще и чаще повторял он.

XX

Хитроумный план

Аркадий Александрович Колесин считался одним из крупных клиентов знакомого нам Корнилия Потаповича Алфимова.

Образ жизни, который вел первый, обладание крупными денежными кушами, которое зачастую сменялось абсолютным безденежьем, делали оказываемую вовремя денежную поддержку со стороны Алфимова неизбежной, легко же приобретаемые деньги позволяли Аркадию Александровичу не стоять за процентами и платить, как назначал Алфимов, аккуратно, при этом оправдывая обстоятельства.

Кроме личного кредита, Колесин доставлял Корнилию Потаповичу и других клиентов из проигравшихся «пижонов», как технически, на языке шулеров, называются сынки богатых родителей.

Все это делало то, что Алфимов даже не затруднял Аркадия Александровича заходить в его кабинет в низке трактира на Невском проспекте, а сам частенько прогуливался к нему на Васильевский остров – исключение, которое Алфимов делал весьма немногим.

Он уважал Аркадия Александровича.

– Почтенный, благородный господин... – в глаза и за глаза называл его Корнилий Потапович.

Во время этих-то визитов и бесед с Колесиныным, последний, – просто потому, что являлась потребность выложить душу, – рассказывал Корнилию Потаповичу свое ухаживание за танцовщицей Гранпа и свои неудачи.

– А вы мощной потряхните, посильней... Мощной... – посоветовал Алфимов.

– Да уж трясусь, сильно трясусь... Не помогает!

– Поди ж ты, с чего бы это? Их сестра, танцорка, к мощне очень чувствительна... ох, как чувствительна.

– А вот эта не чувствительна.

– Выродок, стало быть...

– Выродок, не выродок, а любовь тут к одному замешалась...

– Тсс... – удивленно прошипел Алфимов. – Любовь...

– Да, любовь, замуж выходить захотела...

– Это танцорка-то?

– Да... Эх! Десяти бы тысяч не пожалел, кабы кто устранил с моей дороги этого сорванца.

– Десять тысяч... большие деньги...

– Не пожалел бы, говорю, не пожалел бы! – крикнул раздраженно Колесин.

– Верю-с, верю-с, Аркадий Александрович, смею ли я вам не верить, такому благородному, почтенному господину... А кто это, осмелюсь спросить?

– Савин, некто...

– Савин Николай Герасимович!..

– А разве ты знаешь?

– Лично не знаком-с, а с почерком очень даже.

– Как с почерком?..

– По вексялям...

– Много их у тебя на него?

– Достаточно-с... Вексяля верные... Папенька за них платит, раз уже заплатил рубль за рубль, тоже почтенный и благородный господин.

– Кто это? – вскинул на него глаза Аркадий Александрович.

– Папенька Савина, Герасим Сергеевич.

– А-а...

На этом разговор прекратился, и Корнилий Потапович вышел из комфортабельного кабинета Колесина, убранного в восточном вкусе, где последний принимал первого.

Суть разговора, однако, засела в голову Алфимова, и, придя домой, он вписал в свою заветную тетрадь все слышанное им от Аркадия Александровича и решил, кроме этого, пополнить сведения о Николае Герасимовиче Савине.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.